

[Polaris]

Евгения
ЯРОСЛАВСКАЯ-МАРКОН



ПО ГОРОДАМ
И ВЕСЯМ

Книга очерков

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССXXXII



Salamandra P.V.V.

**Евгения
Ярославская-Маркон**

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Salamandra P.V.V.

Ярославская-Маркон Е. И.

По городам и весям: Книга очерков. Публ. и подг. текста С. Шаргородского. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 130 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССXXXII).

Книга путевых очерков «По городам и весям», впервые опубликованная в берлинской газете «Руль» в декабре 1926 – сентябре 1927 гг., принадлежит перу Е. И. Ярославской-Маркон, поразительно мужественной женщины с необычайной судьбой, расстрелянной сталинскими палачами на Соловках в 1931 г.

Материалом для очерков послужили поездки по России и Средней Азии в 1922-1926 гг., когда Е. И. Ярославская-Маркон и ее муж, поэт-биокосмист А. Б. Ярославский (1896-1930) скитались по СССР в качестве «бродячих лекторов». В этих выразительных очерках перед читателем предстает широкая панорама жизни «маленьких людей» в годы НЭПа и социальных переломов.

Книга очерков «По городам и весям» переиздается впервые.

**ПО ГОРОДАМ
И ВЕСЯМ**

Письмо первое.

(КОСТРОМА, ДЕТДОМ.)

В один из тех весенних дней, когда солнце насмешливо высовывает длинные языки своих лучей и тотчас же, точно испугавшись собственной дерзости, опрометью убегает куда-то, — и когда и весны-то собственно настоящей нет, но лед под санями уже шибко трещит и при каждом хрусте его ямщик тревожно оглядывается, — в один из таких вот дней приехали мы в Кострому.

Губернский жилотдел умудрился и здесь в глуши создать нечто вроде жилищного кризиса и гостеприимство местного культпросвета бросило нас... в детский дом-приемник для беспризорных детей. При нем нам временно отвели комнату. В этом, немного шумном убежище нам довелось довольно близко ознакомиться с бытом тех немногих «счастливых» из беспризорных, для которых нашлось местечко в советском детдоме.

В первое же утро мне довелось увидеть детские головы, с живым интересом склоненные над большим рабочим (он же — обеденный) — столом... Маленькие ручонки, с прилежанием, какое не всегда встретишь у детей в нормальных школах, — что-то мастерили под надзором учительницы...

Подойдя ближе, я увидела, что каждый из детей делал из проволоки какой-то странный бесформенный предмет.

— Что это вы такое мастерите? — спросила я, заинтересовавшись.

— А ты что, — сама не видишь, что — щипцы, — недоверчиво встретил меня один из представителей молодого поколения Эрэфесерии.

— А на что же вам столько щипцов, дети?

— Как — на что? — Ежели залезешь рукой, — схватить могут. А так одни щипцы останутся, а сам всегда убежать успеешь...

— Так... — раздумчиво проговорила я. — А только не слишком ли они заметные, щипцы эти ваши? Вот как бы проволока была потоньше...

Недоверие противной стороны было сломлено и дружба между нами — заключена. И кто-то даже предложил подарить мне на память такие же вот точно щипцы.

— Приходи вечером к нам наверх почитать нам что-нибудь, — просили меня дети.

— Сумеете ли вы приноровиться к их вкусу? — тревожно осведомилась учительница-воспитательница. — Больше всего они любят похождения разбойников, бандитов... Про разные там преступления... Почитайте им что-нибудь в этом роде.

Сама она, бедняжка, хорошо «приноровилась» к вкусам своих питомцев; можно даже сказать, что беспризорным удалось совершенно перевоспитать ее...

Во время работы между нею и детьми происходил оживленный разговор на всевозможные темы.

— Почему, — деловито допрашивал один из питомцев постарше, — деньги нам на книжки давно поступили, а книг все нет? Уж ты те деньги на себя не потратила ли?

— Говорите спокойно, дети, — ровно, с чувством собственного превосходства перебила она. — Ну, чего вы бузу подымаете? Ведь я вот говорю же спокойно, — не бузюсь.

— А почему так? — предложил коварный вопрос мальчик лет двенадцати. — Когда к тебе в четверг заведующий приходил на счет хозяйственной части говорить, — кровать-то у тебя все скрипела и скрипела...

— Стыдно, дети, так врать... — вспыхнув, с неподдельным возмущением воскликнула воспитательница. — Да ведь это же в среду было, а не в четверг.

— Ну а теперь, дети, — кто из вас хочет со мной на прогулку идти?

Поднялась небольшая группка, преимущественно самых младших. Остальным учительница только сказала: «Ну а вы, значит, можете пока идти в город, куда хотите... Смотрите, — ночевать возвращайтесь...»

Как мне потом объяснила воспитательница, большинство детей предпочитает самостоятельные прогулки в город, в частности — на рынок. Прогулки эти отнюдь не увеселительные, а чисто промысловые: дети определенно «городушничают», то есть воруют с лотков... Администрация детдомов отлично знает об этом, но пресечь не может, тем более, что это явление в значительной степени — прямое следствие чудовищной бесхозяйственности заведующих хозяйственной частью детдомов. У меня на глазах ежедневно выкидывались целые котлы недоеденной каши, и в то же время администрация не решалась затратить хотя бы ничтожную сумму на покупку, — пусть в небольших количествах, — такого решительно необходимого для детского организма продукта, как молоко... Выяснилось, что дети охотнее всего воруют съестные припасы, а украденные при случае деньги тратят преимущественно... на молоко и ситный...

К обеду дети собрались далеко не в полном составе.

— Где же остальные? — равнодушно осведомилась учительница.

— В угрозыск забрали... Мы-то сами еле уткли...

— А вы что стащить хотели, — деньги или так?

— Да вот мадаму одну окружили, сбили с ног... Я ее легонько сзади подтолкнул... А Сережа вытащил, да хотел бежать... Тут его снегирь и сцапал... И Августа и Османа заодно... Они как раз с краю стояли...

Учительница слушает даже с интересом, — пока воруют *вне детдома*, — дело ее не касается. Зато когда дети стащат что-либо непосредственно у педагогического персонала или казенные деньги в канцелярии самого приемника...

На другой день после нашего приезда я увидела за обедом детей, которых не было накануне. Тем не менее, явно было, что это не новенькие...

— Ты зачем «лягала» на нас? — накинудся один из них на воспитательницу.

Она объяснила мне, что эти мальчишки сегодня только вернулись из угрозыска, где пробыли три дня по ее же собственному донесению, так как украли у нее 15 рублей казенных денег, взломав замок от ее комнаты.

— Ну что, — шибко вас там били? — заботливо осведомилась она.

— Не, — в этот раз — не больно... Вот только, — и мальчик показывает два больших синяка на правом плече и один — задрав рубашку на нижней части спины.

Своеобразный метод коммунистического воспитания — физическое воздействие — антикультурно и антигуманно, поэтому физическое воздействие изъято из школы. Но физическое воздействие необходимо. Поэтому дети, в целях экзекуции, направляются преподавателем в уголовный розыск. Сапог агента — в роли школьного пособия. Но что заслуживает не только удивления, — нет, — самого неподдельного уважения, — так это — героизм маленьких преступников, с которым они во время дознания терпят побои, крепятся, кусают губы и все-таки не выдают товарища.

У них существует и своеобразное понятие о чести. Если такой шпаненыш скажет вам, по какому-либо поводу, д о б р о л ь н о, а не под влиянием каких либо угроз — «на честь», — то есть — честное слово, — то вы можете быть уверены, что он не врет.

При такой стойкости характера и преступном навыке питомцев, с одной стороны, и малоопытности, невежественности, крайней нищете, а потому и халтурном отношении к делу, — педагогов — с другой, не удивительно, что последние не пользуются ни малейшим авторитетом у первых.

Однажды, сидя вечером в комнате одной из воспитательниц, я услышала панический стук в дверь. Обитательница комнаты поднялась и отперла дверь. Вбежала вторая воспитательница с бессмысленным от испуга, бледным лицом:

— Я у вас здесь пока спрячусь... Позвольте... Дети поколотить меня обещались... За то, что я в угрозыск на них донесла... Уж я здесь у вас пережду до завтра... Авось к утру злоба в них поуляжется... — бормотала она трясущимися губами...

Письмо второе.

ИЛЕЦК (ОРЕНЬ. ГУБ.), СОВ. КУРОРТ.

Верблюдица нервничала. Дома у нее оставался свежережденный верблюжонок и она то и дело оборачивалась назад и протяжно выла... Никакие монологи и прощания с родным селением Жанны д'Арк не могли бы сравниться по драматизму с этими звуками. Казалось, что именно сейчас, а не накануне ночью — разрывается пуповина, соединяющая многотерпеливое и выносливое тело верблюдицы с таким нежным, таким беспомощным телом маленького верблюжонка...

Звуки эти были прямо непереносны для уха и нервов, но киргиз не нервничал. Ибо он был киргизом.

В меховой шапке и бараньем тулупе сидел он на краю телеги, непроницаемый для жары и солнца. Глянцевитый заггар на его лице казался лаком, раз навсегда покрывшим лицо и не пропускающим более ни одного луча...

Киргиз с неподвижным лицом монотонной и неподвижной мелодией поет о всех предметах, попадающихся ему по дороге...

«Большое-шое-шое дерево растет... Маленький-маленький-маленький кустик под деревом растет... Ветер-ветер-ветер над степью пробежал... Навстречу еще один-один-один верблюд идет... За верблюдом другой-другой-другой верблюд идет... На верблюде один-один-один казак сидит...» («казаками», то есть наездниками, — киргизы именуют себя) — и так далее до бесконечности...

Так обстоятельно и спокойно распевал киргиз, и однако, жизнь его вовсе не чужда житейских треволнений... Дочь его Фатала, за которую уже был внесен богатый калым, внезапно вступила в комсомол, отказалась идти замуж, — за нее вступился женотдел и пришлось весь калым вернуть семье жениха. Сын Ахмет сидит вот уже второй месяц в советском исправдоме за то, что кому-то, где-то, взятку дал, а как

же было не дать, когда всем давно известно, что все комиссары взятки берут, — большой комиссар — большая взятка — и без взятки никакое дело в важном учреждении не делается...

— «Справа-справа-справа большой-озеро лежит... В озере-озере-озере соленая вода... Большевик-большевик-большевик на озере устроил курорт... Не было-не было курорт — каждый купался, кто хотел... Очень-очень-очень в озере полезная вода... Теперь-теперь-теперь за купанье деньги берут...»

И вот поэтому-то киргиз проезжает мимо, не освежившись в озере.

На «пляже» для более «чистой» публики — ответственные, трестовики, директора, коммунисты и нэпманы — устроены кабинки для раздевания. За это с каждого купальщика берут 15 копеек. Но и за купанья с открытого берега администрация курорта берет пятак. Очевидно, с «нечистых» берут за то, что они пачкают воду...

Тут же у озера — буфет, где каждый получающий партмаксимальный и более — оклад, может недурно и не очень дорого подзакусить после купанья...

В озере вода горько-соленая и густая; потонуть в ней невозможно. И если вы посередине озера, где глубина приблизительно в два человеческих роста, — перестанете делать какие бы то ни было плавательные движения, — то вы так и останетесь неподвижно лежать на поверхности воды, точно в гамаке... Здесь бы можно было создать действительно недурной курорт... Этого с нетерпением ждут местные крестьяне и обыватели, надеясь заработать от будущих курортных гостей. Впрочем, илецкие крестьяне и сейчас зажиточны. В одной из крестьянских семей я снимаю комнату. У моих хозяев большой деревянный двухэтажный дом. Три верблюда. Огромные бахчи. В парадных комнатах — мягкая мебель — красные плюшевые кресла и диван. Я уже не говорю о граммофоне — неотъемлемом спутнике культуры и цивилизации...

— Вы, конечно, кулаки считаетесь? — спрашиваю я у моего хозяина.

— Да нет... Мы в середнячках числимся... Да и то я собираюсь обжалование подать, — не переведут ли в бедняки...

Я вспоминаю соломенные крыши и проголодное существование «кулаков» в средней России, и — недоумеваю...

— У нас здесь вообще все зажиточно более живут... — поясняет мне хозяин. — Так мы еще, по сравнению, среди них — маломощные...

Итак, одно и то же имущество, в зависимости от состояния соседских хозяйств, — может быть причислено к кулацким, середняцким или бедняцким...

Политика ясна: опасно причислить к кулакам целую деревню, таким образом восстановив против себя поголовно все ее население, — может вспыхнуть восстание.

С другой стороны, если целые бедные области отнести в категорию бедняцких хозяйств, то с кого же брать налоги?

А потому — «разделяй и властвуй».

Достигает ли такая политика своей цели?

Наиболее ловкая, гибкая, подхалимская и пронырливая, так сказать — передовая, — часть кулачества, действительно, чувствует возможные выгоды и всячески старается втереться в доверие к советской власти... Такие кулачки ничего не имеют против и даже поощряют, чтобы их дети шли в комсомол и в партию, — а сами на всякий случай — «авось и не удержатся еще большевики» — не порывают и со священником...

Я сама видела именно в самых богатых крестьянских избах ленинский красный уголок с безбожными плакатами и портретами «вождей» напротив красного угла с иконостасом...

Это они-то, — кулаки — устраивали одному и тому же младенцу тайные крестины и явные октябрины, — ставили и Богу свечку и советской власти... серп и молот...

Но большая часть кулачества, а тем более середняков и бедняков, все-таки ропщет, внутренне бурлит, остается недовольной и готова признать любую власть, которая бы только отменила — или снизила — налоги...

Так обстоит дело по всей России...

Пресловутые селькоры отнюдь не являются подлинными голосами крестьянства, а скорее играют некрасивую роль правительственных фискалов и доносчиков, чем и объясняются частые убийства их односельчанами... Подлинного крестьянского голоса вы, разумеется, не услышите из советской прессы, — он звучит в крестьянских частушках, вроде следующей:

«Ленин Троцкого спросил:
Где ты сено накопил?
Я нигде не накопил, —
У крестьян я напросил...»

Письмо третье.

(ЧЕРЕПОВЕЦ, ДИСПУТ.)

«Череповец, семь лет я прожил
В твоём огрязненном снегу...»

Эти строки вертелись у меня в голове, когда извозчик вез меня со станции в гостиницу. День был морозный и снег вовсе не казался «огрязненным», да и весь Череповец ничем не напоминал ни о Северянине, ни о его строчках... Впрочем, череповецкая интеллигенция помнит своего прошумевшего земляка.

Но сейчас другое имя слышалось на всех углах и другое имя полуаршинными буквами облепило заборы. Череповец был потрясен необычайным событием: из центра приехал лекции читать — не какой-нибудь лектор-безбожник, — а сам владыко — митрополит Введенский.

Местный губполитпросвет и губпрофсовет с перепугу (ой, не справиться местным безбожникам с таким противником) пригласили заезжего из Москвы лектора, благо оказался он в Питере — тут же под рукой — официальным оппонентом.

Афиши украсились еще одним именем, а в городе только и слышалось: — Кто кого?!

Россия — особенно уездная и губернская — любит диспуты. По трем причинам. Во-первых, она рассматривает их, как кулачные бои, — сам азарт состязания, поединка увлекают, напрягается любопытство, — кто из противников кого «положит на лопатки» ловкими приемами-доводами. Во-вторых — при полном отсутствии в советской России какой бы то ни было свободы печати, слова и собраний, — диспут является единственным случаем выслушать противников коммунизма, и — хотя бы и не в политической, а в религиозно-философской области, — да и самому высказать, хотя бы и в замаскированной форме, свой протест про-

тив того неослабного гнета, под которым находится в настоящее время русская общественная мысль.

Протест этот иногда принимает несколько неожиданные формы. Так, например, на многих заводах и в глухих уездных городах практикуется следующий вид обструкции: приносят с собой в мешке живого поросенка и в момент выступления нежелательного оратора незаметно дергают поросенка за хвост. Последний принимается визжать, публика — в том числе даже сторонники оратора — не могут удержаться от смеха, и выступление — сорвано... Впрочем, как известно из парижской прессы, даже такие испытанные общественные деятели, как Марков и его сторонники, прибегают к подобным же приемам вовлечения четвероногих в общественно-политическую борьбу...

Наконец, еще третья причина делает диспут завлекательным для масс. Дело в том, что в провинции до сих пор еще есть наивные люди, надеющиеся на диспуте действительно получить ответ на объявленные в афишах вопросы. А вопросы поистине животрепещущие: «Есть ли Бог?» — «Существует ли загробная жизнь и душа?» и так далее... Я сама слышала, как один череповецкий рабочий спрашивал у другого на следующее утро после диспута:

— Так ты говоришь, — был вчера на диспуте... Ну, так как же оно все-таки выходит, — есть Бог или нет?

— А кто его знает... И владыко красно говорит... И лектор ему не уступит... Тот доказывает. И этот доказывает. А доказать — так и не доказали ничего...

— Так и не доказали... Тогда для чего же было диспут устраивать? Коли так, то и ходить не стоило...

— Оно хотя и занято было обоих послушать, однако, пожалуй, что и не стоило... — соглашается второй.

И, однако, диспуты все же имеют несомненное положительное значение и уж не в смысле внедрения в мозги тех или других предвзятых теорий... В пылу спора каждая сторона, желая блеснуть эрудицией, попутно сообщает аудитории ряд разнообразнейших и интересных сведений. И благодаря этому в настоящее время вы иной раз можете в самой глуши услыхать от какого-нибудь крестьянина в

ужаснейшем произношении имени Канта, Лапласа, Декарта, Платона, Геккеля, Дрекса, — а также путаное и мало-вразумительное изложение теорий Ламетри или Лейбница...

Затем, диспуты несомненно приручают население недоверчиво и крайне осторожно относиться как к той, — так и к другой стороне, — вырабатывают хороший скептицизм, дают толчок к самостоятельному мышлению.

Может быть, поэтому большевики спохватились и в последнее время не совсем охотно допускают диспуты, особенно в провинции...

Итак, Череповец собрался послушать «живого» митрополита. Однако митрополит оказался не «живым». По крайней мере, на вопрос из публики: — «Как смотрит живая церковь на слова: “Не противься злу”?», — он торжественно заявил, что отнюдь не является представителем живой церкви, а возглавляет собой церковь обновленческую... Самому же вопросу по существу он дал совершенно исключительное по своей оригинальности истолкование, утверждая, что евангельское «Не противься злому» — надо понимать в смысле... — «если злой сильнее тебя, так как ты все равно потерпишь поражение от него...» Местные представители тихоновского духовенства совсем оробели от такой ловкости обновленческого митрополита, но, будучи обыкновенными скромными провинциальными священниками, не решились открыто выступить против такого эрудита, как Введенский и против его явно еретического толкования.

Первый в России оратор после Троцкого, митрополит Введенский, как угорь, скользит по поверхности темы, почти не затрагивая ее по существу, из боязни утомить аудиторию, — оставаясь неуязвимым даже в самых сомнительных положениях своего доклада, — всегда увлекательный, находчивый и изящный...

— Антихрист, это — Тихон... Христос, это — мы... — хладнокровно раскрывает он карты своего доклада на тему: «Христос и антихрист».

— «Что будет с нашей душой после смерти? Существует ли загробная жизнь?» — поступает записка из публики.

— Умрете — узнаете, — не задумавшись, отвечает митрополит и переходит к следующей записке.

Введенский отлично знает и чует аудиторию и не прочь иной раз потрафить и антисемитским настроениям.

На трибуне юнец-коммунист, брызгая слюной, раскачиваясь из стороны в сторону, с резким нерусским акцентом разглагольствует на тему: «Долой религию». В пылу спора он употребил выражение «поп»...

Возражая ему, митрополит Введенский, между прочим, делает ему замечание, что «употреблять такие выражения, как “поп”, некорректно совершенно так же, как например... назвать противника жидом».

Аудитория в восторге, аудитория покрывает эту фразу аплодисментами... Жаль только, что на этот раз, как потом выяснилось, противник оказался не евреем, а латышом...

Во время перерыва коммунистическая часть аудитории, а особенно комсомольцы, с пеной у рта спорят с верующей половиной публики. У обеих сторон чувствуется острое раздражение, злоба друг против друга.

На трибуне, за спущенной занавесью настроение более дружелюбное: митрополит из профессиональной лекторской солидарности советует оппоненту для сохранения голоса пить во время лекций минеральную воду... Оппонент высказывает соболезнование митрополиту: «Здорово, верно, устали: сначала — обедня в монастыре. Теперь этот диспут...»

Комсомолка, заглянувшая за кулисы, чтобы передать от имени молодежи благодарность лектору, при виде этой мирной идиллии недоуменно останавливается: Что это... — предательство? — Тайный контакт? — Ренегатство?

Диспут заканчивается около пяти часов утра. Многие рабочие, не заходя домой, отправляются прямо на работу...

И еще долго потом в мастерских, в лавчонках, у ворот и у колодца ведутся нескончаемые споры о Боге, бессмертии и антихристе...

Можно сказать с уверенностью, что никогда еще, с самого времени п р о т о п о п а Аввакума, — не жила страна — (вернее, низы ее) — такой интенсивной религиозно-философской жизнью, как сейчас. «Мертвая» церковь, «живая» церковь, «единая церковь» (о ней — в другой раз), сектанты всех толков — сколько сомнений, сколько исканий... И не только у стариков — часть молодежи тоже ушла в религиозное движение. Существует даже христомол — (союз христианской молодежи) — в противовес комсомолу. Христомольцы и интернационал поют. На тот же мотив, — только свой, особенный. Поется он так:

«...Никто не даст нам избавленья,
Лишь Бог спасет от всех грехов...»

Христомол организовали баптисты. Бывали случаи вступления в него бывших комсомольцев...

Итак, несмотря на все старания коммунистического правительства, подавить свободную критическую мысль не удастся; она работает, ищет, находит, заблуждается, снова ищет... Так было — так будет...

Письмо четвертое.

ОРЕНБУРГ. — СОСЕДИ.

Я люблю Оренбург... Этот город стоит точно на перекрестке.

Направо — Поволжье обильное и голодное, Волга простая и трагичная...

Налево — Сибирь, свирепая и лютостью морозов и хищным зверьем своим и окаянным золотом россыпей и руды...

А прямо вниз... — Тысяча и одна ночь — русский Багдад — «Ташкент, город хлебный...»

Сам Оренбург — словно и не город даже, а просто — площадь базарная, к которой сбегаются проселочные дороги...

Оренбург лежит прямо в центре хлебоброднейших, хлебоноснейших губерний России. В Оренбургской губернии нет и не было недорода... Но это ничуть не препятствует тому, что в иной день совершенно внезапно с оренбургского рынка исчезает хлеб...

Хлеба в такие дни нет в столовой Дома крестьянина и посетителям предлагается приносить его с собой... Хлеба нет в базарных палатках... Хлеба нет в булочных...

Дальше, за Уралом, это явление еще разительнее: осенью этого 1926 года в городе Златоусте Уральской области неожиданно с базара, из всех лавок, вообще из продажи — исчез хлеб, как ситный, так и ржаной....

Правда, в русской провинции, как известно, большая часть хозяек печет на дому; но вся беда в том, что отсутствие печеного хлеба в продаже немедленно отозвалось на ценах на муку, поднявшихся чуть ли не вдвое. А еще через два дня у всех мучных лабазов стояли в очереди целые семейства и после нескольких часов стояния каждый получал по норме, — столько-то фунтов на человека, — одним словом, зрелище в точности напоминало то, что все мы видели в Петербурге в 1917 году...

На все недоуменные вопросы торговцы и кооператоры твердили одно:

— Не привезли... Из-за распутицы...

Как раз на площади стоит местный Дом крестьянина, двор которого в каком-нибудь срединном русском городе, скудном разнообразными видами фауны — смело мог бы сойти за зоологический сад... Приезжая на базар, крестьяне сразу же заезжают в Дом крестьянина напиться в трактире при нем чайку (обед там не по карману крестьянину, как, впрочем, почти во всех Домах крестьянина), животных же своих они распрягают и оставляют тут же во дворе...

И вот по утрам двор наполняется волами, верблюдами двугорбыми и верблюдами одногорбыми, изящными ишаками, похожими на игрушечных, и просто лошадьми... На верблюдах в Оренбургской губернии редко ездят верхом, — большей частью их впрягают в телегу, обычно — парой; на них же здесь пашут. Верблюжье молоко готовят подобно кумысу, причем киргизы часто сбывают его, выдавая за кумыс.

Вечер.... Возвращаюсь из кино. Я живу в Доме крестьянина, мне отвели там комнату во втором этаже, предназначенную под сельскохозяйственную выставку.

Осторожно поднимаюсь по лестнице к себе наверх, стараясь в темноте не наступить на голову кому-либо из семейства заведующего, которое спит тут же, на площадке лестницы, подостлав соломенный тюфяк... Дома, мол, у себя в комнате клопы одолевают... Примеру семьи заведующего следуют и все низшие служащие Дома крестьянина.

Вход в общежитие, где останавливаются крестьяне, совсем отдельный, поэтому я никогда не встречаю их, но у моей комнаты и у общежития одна общая глухая стена, — настолько нетолстая, что пропускает не только каждое слово, но даже каждый вздох или чих... Таким образом, я не знаю в лицо никого из моих соседей, но уже научилась отличать их по голосам...

— Так... А все-таки заботятся об нашем брате товарищи... — растягивает, словно прядет свою речь, елейный голос, нарочито-громкий («хорошо, кабы кто из начальства

услыхал»).

— Вот Дом крестьянина какой поставили... Дом крестьянина...

— А раньше постоянных дворов, что ли, не было?! — равнодушно, точно сплевывает, — второй голос.

— Были... Зачем не были? — Сам, бывало — придешь — тут тебе и чайку горячего, — тут тебе и щи жирные наварные, — всего за двутривенный вся недолга... — соглашается первый голос, вибрируя затаенным смехом и тонкой крестьянской иронией. — Тоже опять и выставку устроили... В комнате направо, — видал?

— Видал... — нехотя отзывается второй.

— Машиница-то эта, — трактор... Видал, — показывали во дворе?..

— А на что ее нам показывать-то?

— Как это — на что показывать-то! Да чтобы знали мы, народ темный, — как хозяй-ство свое-е улуч-ша-ть...

— Ну и знаем... Ну, и что из того?.. Да разве мы не понимаем?! Мы что это — для плезиру, что ли, плугом землю ковыряем?.. Кабы привезли нам товарищи таких тракторов — нате, мол, — работайте — мы-то разве отказались бы, — что ли? Да где они — трактора-то? — Их на всю на Рассею, пожалуй, столько как раз будет, чтобы на выставках показывать... А плуги-то разве имеются? А косы, а серпы? На деньгах их только отпечатывают для фасона... А на деле, — не во всяком кооперативе достанешь...

— Верно, верно... Оно точно, все, что ты говоришь, — засуетился вдруг первый голос. — Я вот и приезжал как раз для этого — плуг покупать... А мне говорят: нет еще, — не выслали... Приезжай так недельки через две...

Я в этом винить никого не виню... — заторопился голос и снова начал елеинно растягивать: — Оно, ка-неч-на и то-ва-ри-щам нелегко сразу всю страну наладить да пустить. Опять же и раз-ру-ха... На все, милок, свое время надобно... Не успевают...

— Не успевают!.. А почему они с налогами поспевают?.. Не поспеет еще урожай в поле, как они уже налоги с него собирать успели...

— Опять же и нало-ги... Погоди, ми-лок, я тебе все пораскажу... Это все какая голова кому от Бога дадена... Вот скажем, я... завсегда с любой властью поладить сумею... И уж она мне не страшна... Я, милок, в бедняках числюсь, и меня оно, милок, не касается... Опять же, сын у меня в волсовете — свой человек, и две дочери — комсомолки, безбожницы... Косы были — во, до самого до пола, — срезали... Я им не препятствую, — как хотят... А смотреть на них стриженных смехота разбирает. Вот моя — даром, что комсомолка, а замуж шла — у попа венчалась, для крепости, значит... Нарочно в город венчаться ехали, чтобы свои комсомолы не пронюхали... Нюх у них на это тонка-ай!.. А вот уж как дите принесла, — так не крестили, — октябрины делали. Я на это молчал, потому как сам думаю, — октябрённому ребенку большевики больше хода дадут...

— Грех это, браток!..

— А кто его знает?.. Мож, и грех!.. А только я так полагаю, — попы, они тоже все больше темный народ обманывают... — Те же товарищи!..

И вот стал я тебе, значит, милок, рассказывать... Все, стало быть, говорю, от того — какая человеку голова дадена... Помнишь время-то в гражданскую войну, — когда коней-то всех для армии забирали... Был у меня мерин, с господского двора, — ну и мерин был... — Неужели же такого для армии отдать?! И вот надумал я мерина моего прописать бережой кобылой... На реквизиционном пункте тоже у меня свой человечек был. Так и ходил мой мерин всю гражданскую войну в бережих кобылах... Оно великое дело, чтобы везде и всюду своего человека иметь... Вот скажем, к примеру, селькор у нас появился... Ябеда такая, что не приведи Господь... Стали наши уж подумкивать, как бы его того-с, прикончить... Насилу я их отговорил... — Рази ж это, — говорю, — можно православную душеньку сгубить... Опять же, и по головке за это не погладят... Мы с ним и без этого обойдемся... — И стал я его почастьенько к себе зазывать да самогоном потчевать... Сладчайший стал мужик: что я ему велю, то и пишет... Таперича все обчество мне благодарно...

А властей нам бояться нечего... — голос понизился, почти перешел в шепот: — Это все до поры, до времени... Нам что — власть? — Мы и без нее проживем... А власти без нас никак нельзя... Город, он, прости Господи, что вошь крестьянином сыт... — за стеной затрясся хитрый и долгий смешок...

Под него я и заснула. Если б я была коммунисткой, — вряд ли я спокойно уснула бы под этот смех, добродушно-угрожающий...

Письмо пятое.

(ЯРОСЛАВЛЬ. — ТРАКТИР.)

Надпись «Просят не выражаться» приходилась как раз напротив меня и, вероятно, к ней служил иллюстрацией добродушный и выразительный «мат», как нежный ветерок проносящийся над трактирной залой...

Трактир был без крепких напитков, если не считать пива, и тем, кто не хотел пива, приносили чай в чайниках; чай этот был особенный, — не дымился, выглядел прозрачным, как вода или же, наоборот, — крепким до красноты, и за пределами трактира именовался «русской горькой» и «перцовкой»...

Справа от общей залы лепились отдельные кабинеты, отделенные от нее, вместо двери, только ситцевыми занавесками, а друг от друга — тонкими, не доходящими до верха, перегородками...

Так было в верхнем этаже. Нижний же — был явно рассчитан на коммунистов и фининспектора. Здесь скромные советские служащие или, еще чаще, благообразные извозчики, — получали свой обед из двух блюд, опрятно сервированный, и чай (настоящий) никогда не подавался здесь спитым...

Но я лично всегда предпочитала верхний этаж...

— Скажите, сестрица, — вы, как мне кажется, человек просвещенный, — могут или не могут психиатрически ненормальную личность под суд отдать? — непосредственно ко мне обратился человек из-за соседнего столика. Вместо рекомендации мой неожиданный собеседник протянул мне пожелтевшую и пропотевшую от долгого ношения на груди бумажку с казенной печатью.

Я пробежала ее глазами: в ней удостоверялось, что гражданин такой-то, похитивший такого-то числа, такого-то года 7 рублей 50 копеек вместе с кошельком у гражданки такой-то и оказавший сопротивление при аресте, а также, бу-

дучи приведен в милицию, оскорбивший действием милиционера при исполнении служебных обязанностей, и затем, разбив окно, пытавшийся совершить побег, — действительно является психически ненормальным, а потому суду и следствию не подлежит...

Уже с первых слов мне стало ясно, что мой новый собеседник страдает манией преследования, во всем же остальном является вполне нормальным (как вообще многие душевнобольные — вне цикла своих болезненных идей) и, пожалуй, даже неглупым, хотя и простоватым парнем... Впрочем, вскоре он был уже настолько пьян, что от вразумительных слов перешел к пьяному всхлипыванию и причитаниям...

Но вот в залу случайно вошел вороватой походкой ответственного и видного работника, спешащего тайком напиться, — какой-то агент уголовного розыска...

— А, здравствуй, старый знакомый!.. Присаживайся!.. — обратился к нему мой собеседник.

Агент прищурился на него, очевидно, действительно признал в нем старого знакомого, — назвал по фамилии и добродушно присел к нему за стол... «Психиатрически-ненормальная личность» потребовала у официанта еще пару пива и стала угощать старого приятеля, приговаривая:

— Ты — парень хороший. Справедливый парень... Я тебя во как уважаю... Справедливый ты парень... Как сказал — так и делаешь... Зря не берешь... Вот и давеча, — ты с меня хотя и большой куш содрал, а дело сделал...

— Тс-с... — останавливает его смущенный агент и тихо прибавляет: — Ну, перестань ты бузить... Мало раз тебя, что ли, в милицию доставляли... То одно, — то другое... Все я тебя выгораживал... А в последний раз и мне бы тебя не выгородить, — одно тебя спасло, что больным тебя признали...

— Так рази ж я тебе не благодарен?! — не унимается его приятель. — Я вот и хочу тебе громко, что б все слышали — благодарность высказать... А денег, что я тебе передал, — ничуть я не жалею... Как ты всегда был сердечный парень...

Не знаю, слышал ли агент последние слова, — вскочив, будто на пружинах, — он уже мчался опрометью вниз по лестнице...

Ко мне подошла девочка лет девяти, в коротеньком, не по росту ей, платьице, в странных, из полотна сшитых туфлях, — несмотря на то, что была зима, — одетых на босу ногу... Поверх платьица на ней была надета дамская кофточка старомодного покроя, которая на ребенке казалась длинным и чрезвычайно уродливым пальто... Непомерно длинные рукава свисают, создавая жуткое впечатление безрукости... Головка курчавая, как каракулевая шапочка. И милостивое, давно не мытое личико, время от времени передергивающееся молнией пляски св. Витта.

— Можно? — указывает она на объедки на моей тарелке и жадно собирает их прямо руками и перекладывает в пропаленный карман своего платьица.

Я усаживаю ее за свой стол и спрашиваю:

— Может быть, ты лучше чаю хочешь?

— Мне все равно.. Что — чай, что — кипяток... — тихо отвечает она и наливает кипяток в принесенную ею с собой жестяную кружку.

Я протягиваю ей кусок сахара, оставшийся у меня на розетке. Она на минуту приостанавливает свое чае-, вернее, водо-питие, — жадно, со скрипом жует сахар и, только проглотив его, снова принимается за свой кипяток. При этом она, опять же руками, переводит объедки из кармана к себе в рот; там и застывший соус из под котлет, перемешанный с хлебными крошками, и голова от селедки, и несколько картофеля, и половина соленого огурца...

— Как тебя зовут?

— Верочка. — (Она так и сказала «Верочка», а не Верка, — и это очень странно).

— У тебя родители есть?

— Нету.

— А ты у кого живешь?

— У тети.

— А она разве на кормит тебя?

— У ней самой нет. Она старая.

— Ты здесь, в трактире, часто бываешь?

— Я здесь каждый день чай пью, — с важностью отвечает она.

Но вот она уже наелась до рыгания и икания, встает из-за стола и — о, чудо! — делает реверанс.

Кто эта девочка, с не-народным говором, именующая себя Верочкой и делающая реверансы?

В соседней комнате компания еврейских нэппапов, напившихся до русского «мата», под воркование последнего, скрепляют какой-то торговый договор с представителем треста... А с другого конца залы тоже доносится «мат». Там мелкий местный коммунист рассказывает о своей встрече с Ильичом:

— Вы — что, мать вашу... — обращается он к своим собутыльникам, таким же мелким коммунистичкам, как он сам. — Вы мразь одна, — вот вы что! Вот — Ленин, мать его... так это был человек!.. Большой человек, мать его...

— Ты, товарищ, полегче бы... — тревожно останавливает его менее пьяный товарищ.

— Отстань!.. Молчать!.. Я про великого вождя говорю, мать вашу...

Около «коммунистического» столика собирается целая толпа и с наслаждением слушает повествование расходившегося ленинца.

— Ну, и сказал он мне, — Ленин то-ись, мать его...

— Я тебе, товарищ, вот что скажу: — ты Ленина вспоминай, вспоминай Ленина... А только «мать», это — уж ты забудь! — вразумляет его один из собутыльников в форме ГПУ.

А в это время около одного из столов какая-то женщина со слезами, руганью и угрозами уговаривает мужа идти домой. Он встает, делает к ней шаг, хочет запустить в нее бутылкой, но, совершенно пьяный, валится на пол... Услужливый официант подымает его... Затем два официанта под руки выводят из трактира не его, а... ее.

— Парочку пива!.. Живо!.. — заказывает новая компания. Подслепая старушка с унылым видом обходит ряды столиков и предлагает большие ярмарочные конфеты в бумажках по две копейки штука.

Письмо шестое.

(ЦАРИЦЫН.)

Двое неизвестных на соседней скамейке разговаривали о фининспекторе.

А ветер, точно хмурый фининспектор, молча собирал с деревьев последние шелестящие червонцы листы...

Деревья, так же как и люди, не протестовали и только укоризненно покачивали своими лысыми головами...

Но двоим неизвестным недолго пришлось спокойно и обстоятельно беседовать о фининспекторе: с громким криком, суетливой разногласицей, перебивая друг друга, — накинута на них стая детей...

Это не были беспризорные. Это были деловитые и очень положительные маленькие человечки.

Маленькая армянка Роза, — черненькая, чистенькая, свеженькая, в белом передничке, предлагает большие яблоки — по 5-ти копеек штука, — такие же чистенькие и свеженькие, как она сама... Ее подружка — длинноногая худенькая еврейка — торгует тем же. Но обе они предлагают свой товар чинно, степенно и никогда не отбивают друг у друга покупателей... Другое дело мальчишки: юные армяне, греки, татары, персы, — одним словом, дети всевозможных народов черной масти — точно разнородная птичья стайка, в которой и вороны, и галки, и грачи, — ссорятся, перебивают друг у друга, отлетают в стороны и налетают снова...

— Давай, гражданин, ботинки почищу!..

— Барышня, барышня, — давай, — туфли вычищу!..

— Не слушай его, гражданин, он маленький, — еще не умеет, дай я почищу!..

Но «маленький» — самый юркий из всех. Это — шестилетний братишка Розы, — забавный до невероятного, — малюсенький, худенький, — с огромными, круглыми, как у птенца, глазами... Голос у него звончей, чем у всех, и рань-

ше, нежели «гражданин» успел согласиться, пронырливый мальчонок уже покрыл ему ботинки ваксой...

Беспризорный — и маленький чистильщик сапог, это — два полюса. В любом отношении.

В классовом: первый — ярко выраженный люмпен-пролетарий; второй — будущий мелкий буржуй...

В идеологическом: чистильщик сапог — реалист, материалист... Злостный беспризорный (а бывают ведь и не злостные, невольные) — всегда романтик...

В семейном отношении: беспризорный является не имеющим и не помнящим родства; уличный же торговец, напротив, покорный и полезный член семейства, под вечер добросовестно приносящий родителям часть своего заработка, а иногда и всю дневную выручку... А если он и оставляет часть ее себе, — то вы можете быть уверены, что он не потратит ее на сласти, куренье и прочие слабости, она целиком откладывается на расширение предприятия: сегодня он только чистит сапоги, — через неделю он попутно будет торговать шнурками для ботинок...

Но что роднит и тех и других — всех вообще питомцев улицы и бульвара, — их удивительное знание людей и жизни, и притом знание — в применении к своей личной пользе. Вот, например:

На одной из скамеек сидят две проститутки. Они сегодня еще ничего не заработали. И это знают Роза с подружкой так же хорошо, как если б они могли рентгеновскими лучами опрозрачить карман этих двух проституток.

Тем не менее, именно к ним направляются Роза с подружкой:

— Хотите яблоков? — У вас денег нет? — Ничего... Мы вам это устроим...

И маленькие ножки направляются к соседней скамье. Там сидят два молодых человека.

Бедно, но аккуратно одеты. С застенчивыми, но независимыми манерами. Из типа «бедных, но благородных»..

Вот к ним-то обращается Роза.

— Посмотрите, — на той вон скамеечке какие барышни красивые сидят. — Купите для них яблочков.

Говорится это, разумеется, нарочито громко, чтобы не только сами барышни, но и весь городской сад слышал. Конечно, кавалеры не захотели ударить лицом в грязь перед барышнями. Конечно, через минуту Роза уже неслась обратно к барышням и звонким голосом провозглашала:

— Барышни, — вам кавалеры — вон с той скамейки — яблоков прислали.

Но это была лишь завязка. А результат получился к всеобщему удовольствию: через полчаса обе проститутки уходили под руку с новыми знакомыми и Роза с пустой корзиной из-под распроданных яблок — бежала домой. Итак, — десяти-одиннадцатилетние девочки в роли сводниц...

Впрочем — не только дети улицы...

Вообще советские дети очень уж много знают и об очень уж многом заботятся. Эти дети, выросшие в годы голода, с первым пробуждением в них сознательной мысли, — привыкли считать, что вкусная, обильная еда и хорошая новая обувь — суть первейшая цель жизни каждого сознательного гражданина. Дети эти закалены жизнью — они не пропадут даже в самых тяжелых условиях, но зато — даже в самых легких и благоприятных — они будут продолжать думать лишь о материальных благах... Сказка, фантазия, елка, кукла, — все это для них лишь синоним глупости... Расчетливые дети. Самостоятельные дети. И — абсолютно корыстные. Даже в самых обеспеченных семьях. Я вовсе не хочу сказать, что они вырастут отъявленными подлецами и негодьями. Нет. Но это — молодое племя карьеристов и стяжателей.

Карьеризм — вообще одна из черт молодого поколения в советской стране. Среди старых коммунистов есть много бескорыстных и беззаветно преданных, если и не рабоче-крестьянскому, то партийному делу. В комсомоле — все от карьеризма. Даже популярность среди них того или другого вождя — по инструкции из центра. И теперь, когда Троцкий, в связи с оппозицией, не в фаворе, — всякий провинциальный комсомолец по любому поводу будет ругать его... Когда статьи Коллонтай о половом вопросе вызвали недовольство в московских «сферах», — несчастная Коллон-

тай сделалась мишенью для всех комсомольских постановок, всевозможных куплетов «Синей блузы», а с легкой руки последней, — и заезжих эстрадных куплетистов...

Все эти мысли бродили в голове, пока я сидела одна на скамейке городского сада.

Но вот струя новых наблюдений вытеснила их: на соседней скамейке расселась новая компания проституток...

Их было трое. Одна высокая, с резким голосом и жестами, с визгливыми, как две маленькие собачонки, глазами, — с носом, нахально, точно подол, задранным... И, вероятно, — хорошая душа...

Вторая — красивая, полная, — с равнодушным, немного заспанным лицом... И в то же время, как первая вызывающе естественно смеется, стараясь обратить на себя внимание, она вяло и инертно дожидается, пока кто-нибудь ее пригласит...

Третья — собственно говоря, еще не «гуляющая». Но несомненно будет гулящей. Маленькая упругая мусульманка, с безответными и скрытными мусульманскими глазами... Она сдружилась с двумя первыми и по дружбе сопровождает их. Когда ее развязная подруга отпускает слишком уж вольные шутки, она смущенно останавливает ее, а когда та неожиданно, не то расшалившись, не то для рекламы, циничным жестом задирает подол, она тихо говорит ей:

— Если ты так себя вести будешь, то я с тобой больше ходить не буду... Ищи себе другую подругу! — и пересаживается на другую скамейку. Но сама она уже несколько раз уходила с посетителями. Пока еще бесплатно. Чтоб не отставать от подруг, из своеобразного самолюбия. — «И я, мол, могла бы “работать” не хуже вас, если б захотела... Вот видите, приглашают».

Вообще, ни в одной стране нет такого простого, почти неуловимого перехода от просто несколько распушенной женщины к профессиональной проститутке.

И та, и другая знакомится с мужчиной в любом месте; и та и другая готова принадлежать мужчине с первого же раза, после двух-трех переходных фраз или же заменяю-

щих их жестов, без всякого предварительного ухаживания и знакомства, часто без всякой надежды, да, пожалуй, и без особого желания встретиться еще раз со своим случайным приятелем.

Проститутка в России не воспринимает себя психологически таким потерянным, всеми отверженным существом, как ее сестра в Западной Европе. Если в России легче скатиться до проституции, то легче и выкарабкаться из нее. Легче, но все-таки нелегко. Ибо пока существует безработица, проституция неизбежна, несмотря ни на какие женотделы, комсомолы, охраны материнства и прочие коммунистические начинания.

И, точно иллюстрацией к моим мыслям, звучит со скамейки напротив:

— И вот, милая моя, приходит это к ней третьего дня подруга. А она мертвая лежит. Пузырек и записка: «Работу найти надежды у меня больше не осталось. Телом своим торговать не хочу».

Там сидят все худенькие, очень бедно одетые девушки. Одна из них, помоложе, — та вот, что рассказывала, — выглядит изнуренной и все-таки жадной до жизни. Нет, она никогда не напишет такой записки. И когда-нибудь и она будет заманивать мужчин в этом же самом саду и жаркий блеск ее глаз, жадных до обыкновенной питательной и вкусной пищи, — вот сейчас бы колбаски чайной, да хлеба белого к ней побольше — будут принимать за любовный пыл...

Письмо седьмое.

(МОСКОВСК. ГУБ. — КРИЗИС БРАКА.)

Кризис брака... — приевшееся, ничего не объясняющее сочетание слов... И все-таки — нужное, единственно определяющее состояние «брачного» вопроса в России.

Вопрос этот выпирает из всех привычных рамок, рассыпаясь на брачный, женский, «хулиганский» и проч. — подвопросики.

Возьму для иллюстрации несколько семей, которые подверглись особенной внутрисемейной разрухе. Пример первый:

Она — типичная русская интеллигентка, бывшая подпольщица, безукоризненно-щепетильно честная и немного старомодная и смешная, сохранившая в сорок лет свой вид «курсиhi», стригущая свои — теперь уже с сильной проседью — волосы точь-в-точь той же некокетливой и залихватской стрижкой, как двадцать лет тому назад, и до сих пор не могущая без глубочайшего волнения душевного слышать два мотива, столь дорогих когда-то сердцу: «Интернационал» и... «Gaudeamus».

Пламенный, яростный член партии («Единой Российской Социал-демократической (фракции большевиков)» — как писалось тогда) — с 1905-го года.

Он — тоже старый партиец. И очень видный в настоящее время. Но гибкий, эластичный донельзя.

Был подпольщиком. Был эмигрантом.

В начале Октябрьской революции сразу сумел почувствовать и осознать себя диктатором. Впрочем, подписывая приговоры о расстреле, отменил несколько из них, чем создал себе среди беспартийных масс, падких до легенд о добрых заступниках, — репутацию человека некровожадного и даже великодушного. Так же мгновенно, как диктатуру, — принял НЭП и в него погрузился.

А она, безропотно коловшая дрова и стиравшая белье при военном коммунизме, — упрямо сидевшая на голодном пайке, в то время как все коммунистки ее круга имели шоколад, икру и даже вино, — с жутким хладнокровием относившаяся к работе мужа в Чека, — как раз к НЭПу-то никак не могла приноровиться.

— Ты — неоценимый работник при женотделе, — прекрасный агитатор и организатор. Как тебе не стыдно тратить время на никому не нужную домашнюю работу, которую отлично могла бы выполнить за тебя любая прислуга... — говорил он ей не раз.

А она, понимая, что в его словах есть доля правды, — все же верным женским инстинктом чувствовала, что если она возьмет прислугу, то уже перестанет быть коммунисткой. Как всем известно, метрессы крупных коммунистов в изысканности туалета не уступают бывшим придворным фавориткам, а, ревниво соперничающие с первыми, коммунистические жены стараются не отставать. И вот ему часто неловко было за скромный, почти общипанный вид своей жены, одетой со всей убогостью женщины, не привыкшей, не умеющей и не желающей следить за своей внешностью.

Эти двое не разошлись. Они слишком любили друг друга. Но близость их, общность, то что, заимствуя церковный термин, правильнее всего было назвать истинным «таинством брака» — незаметно и неуловимо растаяла. Он утонул в трестах, учреждениях, командировочных, наградных. Она, закусив удила, мчалась в оппозиционной упряжи.

Теперь новый пример, — диаметрально противоположный:

— Чего только не испытала на своем веку та маленькая женщина, о которой я хочу здесь рассказать!..

Круглая сирота, в раннем детстве была она поводыркой у какого-то слепого нищего... Лет с десяти работала на фабрике. Шестнадцати лет вышла замуж за человека, вечно пьяного и без ножа не ходившего... Бил жену немилосердно, а однажды и ножом полоснул.. Наконец она не выдержала и, беременная на пятом месяце, от него ушла. Ночевала по пристаням и вокзалам, а днем «стреляла» (проси-

ла милостыню). Но от всяких предложений интимного характера стойко отказывалась.

— У меня тогда одна цель была... — говорила она мне потом:

— Дите свое выносить, а потом и выкормить... Не хотела я с невинным дитем в утробе под заборами с мужиками валяться...

И пока кормила — тоже себя соблюдала. А уж как выкормила — так скажу правду, — стала гулять... Потому — теперь мне никто ничего сказать не мог. Материнское свое дело я справила...

Вот тут-то, в качестве проститутки среднего разбора, свела она совершенно случайно знакомство с маленьким провинциальным коммунистиком из заводских слесарей, — немолодым уже, сухоньким и немного с придурью...

И решил он вернуть бабенку к «честной трудовой жизни и в сознательную пролетарку перевоспитать», для коей цели на ней и женился. Женщина, всю жизнь прожившая в нужде, — именно потому особенно стремилась вздохнуть посвободнее... Хотелось ей на вечно босые ноги самые дорогие шелковые чулки надеть... Хотелось, чтобы в доме — всякая утварь... Чтобы — комод, горка и, на случай гостей, чтобы ну хотя бы две-три «золотые» чашечки в цветочках с блюдечками... И, выходя замуж за «хоть и плохонького, а все — коммуниста», уж конечно рассчитывала, что все это получит.... А мужа в коммунистической партии все в черном теле держали (уж очень он там всех идеологией и партэтикой одолел... И главное дело, без малейшего партийного чинопочитания с обличительно-усоветательными речами к партначальству лез...) И оказался он вскоре одновременно из партии за «благородство душевное» вычищен и с работы за непригодностью уволен.

А жену молодую утешал тем, что зато он — «единственный правильный член партии, который совесть свою партейную не потерявши, а то все — карьеристы и взяточники...»

Тут он вскоре к тому же запил. И не раз слышала я за стеной подобные диалоги:

— Опять в кабак? — А мне, значит, одной сидеть — пропадать?!

— Да ты-то пойми... Рази ж меня на выпивку тянет? — Я затем в пивную иду, что там завсегда человека найти можно, который думу мою понимает...

Дверь хлопает, — по лестнице — мужские шаги, а женский голос за стеной уныло тянет любимую свою песню:

«Родилась я у нищего в подвале
И опять же я попала в нищету...»

А в один день не выдержала бедная женщина, — собрала узелочек, — взяла плаксивого со сна ребенка и, тихонько крадучись, сбежала, — точно кошка с голубятни... Больше всего обижался муж, что так вот ушла, — даже записочки после себя не оставила...

И наконец — третья иллюстрация, — наиболее типичная, наиболее характерная для современного брачного кризиса: — Жили Федор с женой Таней хорошо. Всем соседям на зависть. Оба молодые — погодки, оба красивые, оба ловкие. Вместе работали, вместе на печи отдыхали и баловались. Любили друг дружку и — крестьянское свое хозяйство. Тут взяли его на войну. Воина — беда всеобщая, неминуемая, — как все равно молния, али лесной пожар... Таня не роптала. Только тосковала, да никак дожидаться Федора не могла... Попал Федор в плен. Поспокойнее стало Тане — в плену хоть цел будет... Только свидеться еще пуще не терпится...

А как дождалась — опять же не на радость: вернулся Федор не тем, чем был. Больно ему жизнь в Германии понравилась. Хозяйство, мол, свое улучшают, и в хлебах и в скоте — во всем толк знают немцы... И втемяшилось Федору на агронома учиться... Уговаривал жену: — «Вот, погоди, — выучусь -- тебе же лучше будет... Хозяйство такое заведем, что всем на образец... Опять же я, как агроном, жалованье получать буду...»

Не слушала Таня: — «Уедешь ты учиться в уезд, — меня позабудешь... Да и не учиться вовсе ты желаешь, а просто

другую завел!.. — Вот и хочешь, чтобы — с глаз долой...»

А когда Федор все-таки собрался ехать, Таня заартачилась:

— Когда так, — давай мне развод... Я себе другого найду. А то я всю войну ждала, да опять тебя дожидаться...

И загс зарегистрировал очередной развод.

Письмо восьмое.

(ТАШКЕНТ – РУССКИЙ БАГДАД.)

Песок пустыни разостлан на сотни и тысячи верст, точно смятая горячим телом простыня... Точно метался кто-то огромный в сильном жару по этой простыне, — оттого и складки — складки песка. Сухие растения — низкорослые клубки-кустики — совсем как пучки волос под мышками. А ветер дышит сухо и безотрадно, как в тифу.

В вагоне скучно... Разговаривать не с кем. Два ответственных коммуниста напротив с ответственной высоты поругивают оппозицию, Троцкого и какого-то уездного секретаря. Их жены, нежно обнявшись, беседуют о ташкентском шелке, жалуются на то, какая грубая теперь пошла домашняя прислуга — «нет, что ни говори — профсоюз пересоллил, — надо же и за нас, бедных хозяек, кому-нибудь вступить». А без прислуги тоже никак невозможно: муж — ответственный, это обязывает», — и с интимно-дамской улыбкой нашептывают друг другу анекдоты «для курящих». Остальные пассажиры от жары и скуки спят. Да их и вообще немного: поезд — скорый, а в советской России скорый поезд это — как раньше мягкий вагон, — в нем едут только «ответственные» и трестовики.

Небогатый ассортимент железнодорожных приключений уже исчерпан: локомотив наш по дороге перерезал пополам верблюда, поднявшийся сильный ветер унес шарф у какой-то дамы, стоявшей на площадке, ссадили двух оборванных и голодных безбилетных, на станции у кого-то стащили кожаный чемодан, — новых происшествий как будто не предвидится.

Покупаем на станциях у киргизов кумыс и пьем; злые языки утверждают, что это не кумыс, а верблюжий арьян... Продают свой напиток киргизы из-под полы, — ввиду необычайного распространения среди киргизов сифилиса и заведомо антигигиенического приготовления ими кумыса,

продажа последнего во многих местах России запрещена. Разрешение на продажу выдается лишь отдельным лицам, подвергающимся регулярному медицинскому осмотру.

Скучно... И все-таки пустыня очень красива. Она нежно ласкает, баюкает глаз, в ней что-то успокоительное, мягкое. Но вот в воздухе внезапно появляется какая-то сочность, влажность. И вдруг — сады, сады, сады. Мы подъезжаем к Ташкенту. Город — оазис среди пустыни.

Как на ткацком станке, тянутся нити виноградника на четырехугольных рамах. Сады тенистые и довольно сумрачные, неприветливые, как строгие, экзотически-красивые и неласковые лица туземцев. Туземцами в Ташкенте являются узбеки или, как их раньше называли — сарты. Теперь слово «сарт» считается оскорбительным. Почему?

— «Сарт» по-нашему значит — собака, — так пояснил мне один узбек.

Вечером Ташкент сказочно прекрасен. В настоящее время в России не найдется ни одного города, кроме Москвы, который был бы так оживлен, как Ташкент. Техника световых реклам и киноплакатов здесь чуть ли не перещеголяла столичную. Улицы полощутся в электричестве. Сплошная человеческая волна струится вдоль главной улицы, заливая увеселительные сады и кинематографы. Тротуары и стены домов бледны от электрического света. Толпа, как лунатик, движется в этом свете, зачарованная не луной, а бледными и затягивающими лампочками кинематографов.

По бокам улица густо облеплена чайханами (чайными домами, трактирами) — как карниз дома ласточкиными гнездами. Напротив каждой чайханы, на мостовой, нечто деревянное, среднее между широким столом и квадратными нарами. На этом «нечто» сидят, поджав под себя ноги или просто вытянув перед собой, туземцы в халатах, в круглых татарских ермолках, черных или вышитых, старики в чалмах.

Пьют они из «азиатских чашек», почти в точности напоминающих трактирные полоскательницы, кумыс и чай, едят, прямо руками, плов и шашлык, которые жарятся на вертелах и жаровнях тут же в чайханах. Вместо хлеба —

плоские чуреки, круглые, тонкие лепешки.

Ничего провинциального нет в Ташкенте, и очень мало русского. Весь он — смесь восточной экзотики и порочной нервной напряженности крупного торгового западноевропейского города. Советская власть умеет здесь оставаться незаметной или, может быть, не умеет стать заметной.

Город — оазис среди пустыни! Какое изобильное богатство, запрятанное среди песков!

Днем Ташкент не такой сказочный, но зато этнографически, пожалуй, еще интереснее. Как большинство восточных городов, он имеет две части: новый город и старый город. Новый город — это, разумеется, «европейская» часть Ташкента; но и здесь чайханы, шашлык, плов, чуреки, и здесь — обилие восточных товаров на базаре, и здесь — среди туземцев очень мало русских, и здесь — то и дело на плавно выступающих, изящных, точно искусной рукой из дерева вырезанных миниатюрных ишаках выезжают величавые старики-узбеки с пророческими белыми бородами, в длинных восточных одеяниях и пышных чалмах. Узбеки-старички удивительно красивы. Белая чалма и седые бороды эффектно контрастируют со смуглыми лицами и немного диким блеском черных глаз. Молодые узбеки красивы далеко не всегда. Так как между всеми мусульманскими народностями края (татары, узбеки, киргизы, персы) происходило и происходит постепенное скрещивание путем брака, то в настоящее время у узбеков преобладают два типа лиц: один напоминает киргизский; узкие косые глаза и желтый цвет лиц сразу выдают большую примесь монгольской крови. Широкие скулы, нос несколько плоский, с небольшой горбинкой. Второй тип — ближе к персидскому: скулы хотя и несколько широкие, но не в такой степени, как у первого типа. Глаза значительно шире, более выразительные, менее косые. Цвет кожи более смуглый и с меньшей примесью желтого тона.

Оригинальны местные повозки: на двух огромных колесах возвышается, как балдахин, место для седока. Впрочем, сами узбеки очень редко им пользуются, предпочитая оставлять саму повозку пустой, а самим сидеть впереди на крупе

у лошади или ишака. Поэтому в Ташкенте, впрягая лошадей, узбеки обычно одновременно оседлывают их.

«Старый город» значительно менее живой. Он всегда, и днем и ночью, какой-то заспанный, непроставшийся. Прохожих по улицам мало, улицы узкие, холмистые и на каждом шагу перерезываются арыками (искусственными узенькими каналами с неаппетитной на вид водой). Перепрыгивая через эти арыки, не раз проклинаешь их, а между тем, только им обязан Ташкент своим цветущим видом, своими плодовыми садами, чуть ли не даже своим существованием вообще.

Прямо-таки жуткое впечатление производят узбеки старого города: неопределенные фигуры, возраст которых можно определить разве только по походке, с пугливыми движениями и лицами, завешенными густыми черными решетками-сетками. Покачиваясь при ходьбе и от ветра, решетки эти неуловимо напоминают хоботы и производят безобразное, отталкивающее впечатление. Турецкая чадра или покрывало крымских татарок неизмеримо изящнее.

У узбеков распространено многоженство, но совсем напрасно слово «гарем» вызывает повышенный интерес почти всякого европейца: гарем мусульманина — это просто семья, где, как и во всякой обычной семье, несколько женщин и дети этих женщин. И, если жены одного мужа и ссорятся между собой, то вовсе не из половой ревности, не из боязни охлаждения мужа, а просто из-за способов готовить плов, из-за невыстиранного вовремя белья, одним словом, из хозяйственных принципов и кулинарного тщеславия. Старшая жена — вроде сварливой хозяйственной свекрухи, младшие жены — лукавые, бесхозяйственные золовки. Встречаются среди последних и такие, которые, наоборот, усердствуют, желая показать мужу, что они понимают в хозяйстве не меньше старшей жены. Ревнует обычно не старшая к младшей, а младшая — к старшей, так как ревнуют не мужа, а хозяйство: каждая хочет быть полной хозяйкой.

Женотделы ведут энергичную борьбу с многоженством и загсы не регистрируют более одной жены, но это мало

смущает благочестивых мусульман. «Расписавшись» с одной женой, они венчаются с остальными у муллы.

Еще одна маленькая пикантная подробность: в советском Туркестане существует *рабство*. Не какое-нибудь там иносказательное, а самое настоящее, прямое: неимущие родители продают детей в рабство богатым узбекам. За небольшой выкуп богатый туземец может приобрести мальчика, девочку на всю жизнь для всевозможных услуг, в том числе и услуг интимно-полового характера. Такой проданный мальчик (или девочка) должен всю жизнь работать на своего хозяина, разумеется, без малейшего вознаграждения. В самом Ташкенте этого, конечно, нет. Но в окрестных деревнях и местечках, за Ташкентом, это практикуется до сих пор.

Туркестанский быт, виды Ташкента, живописность его улиц и лиц так и просятся на кинофильм. И можно только удивляться бездарности заправил ташкентского «Узбекгоскино», не сумевшего создать ничего путного из такого изобильного материала. И право же, даже противоречия между старым мусульманским и новым «коммунистическим» бытом на улицах Ташкента обозначены гораздо ярче, чем в фильмах «Узбекгоскино».

Я уже говорила, что в общем советская власть в Ташкенте очень мало заметна. И все-таки.

Среди многочисленной толпы восточных торгашей и московских приезжих дельцов — неожиданно да промелькнет узбечка-комсомолка, зрелище поистине забавное; справедливость требует отметить, что вообще мало идет узбекам европейский наряд, а уж узбечкам комсомольская «форма» и того меньше.

Мне особенно запомнилась одна такая комсомолка. В вышитой шапочке-ермолке, какую носят мужчины-узбеки, она казалась сразу потерявшей всякий пол. Косоглазая, скуластая, желтенькая, с книжечками под мышкой, она казалась цирковой обезьянкой, приодетой для представления. Чуждая нашему глазу экзотичность черт, — странно привлекательная в оттенении туземной одежды — при ев-

ропейском одеянии резко подчеркивается и кажется отталкивающе-негармоничной.

Русскому глазу часто случается видеть узбечку с непокрытым лицом: с русскими они не стесняются, но как только завидят кого либо из мужчин-мусульман, стыдливо прикрываются сеткой. Только комсомолки и жены коммунистов ходят да улицам с открытым лицом. Но в домашнем быту и эти последние часто следуют заветам праотцов. Я, например, знала одну мусульманскую чету, которая вместо религиозного обряда устроила своему ребенку октябрины. Но когда маленькая Роза (в честь Розы Люксембург) через полгода заболела, то обратились не в больницу, а к знахарке. И вот я наблюдала жуткую картину: в соседней комнате пришедшие покупатели спрашивали самогон (вино пророк — да будет благословенно имя его — запретил, но о самогоне в Коране — велика премудрость Аллаха — ничего не сказано), и мать ребенка сообщала, что самогона сегодня нет, все некогда было из-за больного ребенка, а «вот приходите денька через два, тогда либо выздоровеет, либо схоронят уже...» А на террасе, прямо на полу, обернутая в тряпки, лежала маленькая Роза с сильным воспалением легких, хрипящая тонким и жалобным детским хрипом, а над ней какая-то женщина читала Коран, сплевывала и дула в сторону, отгоняя злого духа, — и опять читала суру Корана. К утру ребенок умер. Хоронили по гражданскому обряду, без муллы.

Письмо девятое.

(АСТРАХАНЬ. — ИНТЕРВЬЮ С АСТРАХАНСКИМИ КАРМАННИКАМИ.)

Собственно говоря, я могла бы дать в этом письме не одно, а целых два интервью: первое — с наркомфином Брюхановым, второе — с астраханскими карманниками. Но о наркомфине скажу только, что он отдых свой проводил, как любой чиновник или совслужащий, добросовестно гулял по паровой палубе, собственноручно распределял гражданам чайкам хлебные пайки, беседовал с дамами о погоде, восхищался красотами Волги и, казалось, если б пришли ему сейчас сказать, что весь его комиссариат уничтожен за низвержением советской власти, то ответил бы он, даже рассердившись немного: «Обратитесь к заместителю. Я сейчас в отпуске».

Но если так мирно и неделовито был настроен сам наркомфин, то совсем в противоположное настроение приводило его присутствие на пароходе всех пароходных обитателей. Обеды в буфете стали свежее, изысканнее и обильнее, «наркоматовские» обеды. Что же касается пароходной ячейки Рекапе, а существуют и таковые на волжских пароходах, то на нее напала митинговая лихорадка. По всему пароходу заметалась в красном платочке жена одного из матросов — эркапистка — и деловитым говорком сообщала:

— Приходите сегодня в 5 часов вниз. На собрание женщин. Все женщины из 3-го и 4-го класса пусть придут.

Какой-то лектор почему-то «докладывал» о женском движении. Недоумевали собравшиеся, так как женщин оказалось меньше, чем мужчин. Недоумевали женщины — несколько татарок и киргизок, плохо разумеющих по-русски, старая бабка, едущая к женатому внуку в Астрахань, две монашки, несколько пароходных служащих и матросских

жен, а больше всего — облепленных детьми, как мухами, русских, отупелых от детей, преддорожной суматохи и вынужденного пароходного безделья, крестьянок — зачем их позвали? Недоумевал капитан парохода, как бы ему лучше подхалнуть и, конфузясь, сбиваясь и потея, предложил длинную и нескладную резолюцию благодарности советской власти за раскрепощение женщины. Но больше всего недоумевали сами коммунисты: виновник происшествия — наркомфин Брюханов — не соблаговолил даже сойти вниз полюбоваться на собрание.

В Астрахани пароход стоял суток двое, а через двое суток должен был отправиться в обратный рейс.

И скучный же город Астрахань. Пыль, пыль и еще раз пыль... Троекратная достопримечательность Астрахани.

И вот, во время одной прогулки с парохода в город, я наткнулась на маленький, пыльный и жалковатый городской садик. В саду было душно и скучно, как и во всей Астрахани. На скамеечке сидели две пионерки и, жеманясь, вели разговор:

— Я всю зиму в звене состою. А уж в лагерь я ни за что не поеду. Я мальчишек боюсь. Они и так все время ко мне пристают. И целоваться лезут и все. Я так руководителю и сказала. А он мне: «Почему это именно к вам, Шестакова, все пристают? И истории всякие. Кроме вас, никто больше не жалуется. Видно, вы сами повод какой-нибудь подавали».

В это время к скамейке подходит компания из трех молодых людей. Пионерки с визгом срываются с места и с кокетливостью молодых горничных убегают на другую скамью. «Чего испугались? Или, может, людей никогда не видели?» — смеется, усаживаясь, один из молодых людей. Одет он бедно, но очень опрятно. Лет ему — шестнадцать, не более — на вид. Глаза серые, еще немного детские и с наглечой.

Приятель его одет гораздо изысканнее, не без фатовства. Ослепительно белая, только что выстиранная и выглаженная рубашка, нарочито небрежно расстегнутая спереди. На груди — изумительная, сложная татуировка: спящая на скале женщина и пароход вдали. На левой руке тоже

татуировка, но более вульгарная: сердце, пронзенное двумя стрелами, и чьи-то инициалы. У самого парня лицо решительное, умное и очень честное.

— Вору... — тотчас же мелькнула у меня догадка. И только третий из трех приятелей заставлял меня усомниться в моем предположении: слишком уж типично бандитски-фильмовый вид был у него, а настоящие вору редко бывают такими. Угрюмо-недоверчивое лицо, храброе до дикости, татарского типа, глаза ультра-черные, непонимающие и непонятные, и мускулы крепкие, напряженные.

Но мне недолго пришлось сомневаться и рыться в догадках.

— Неплохая гостиница, — со смехом заговорил один из парней со своими приятелями. — Голубей-то сколько. Все вылетят. Мы уж их приручим. Голубь, конечно, птица маленькая.

— Да там сейчас есть кто или нет? — перебил второй.

— Шмара стремится.

Спасибо великому бытописателю Куприну, из его очерков блатных типов мне были известны кой-какие выражения воровские. Я понимала выражения «гостиница», «стремит», «голуби». Меня с самого начала подмывало заговорить с моими случайными соседями.

— Вы вот говорите, так думаете, никто и не понимает? А между тем очень даже понятно, — перебила я двух приятелей, тараторивших, как галчата.

— Мы так говорим, что никто ничего не понимает, — с уверенностью возразил самый младший.

— Ну вот, что вы поняли, что мы здесь говорили? — недоверчиво, желая меня проэкзаменовывать, спросил второй.

— Понять — поняла, а переводить не стану, — уклонилась я.

— Стало быть, «засыпались», ребята, — смеясь, воскликнул кто-то из них.

— Да, нет, пока еще не «засыпались», пока не «зекс», а вот если б вы, вместо меня, на другого кого напали...

— Верно — «зекс», — сказал парень с татуировкой, словно пораженный, услышав термин этот от меня.

— Красивая у вас татуировка, — заметила я, — где делали — в «училище»?

Он, еще более удивленный, ответил не сразу:

— В «училище» сидели, «учились», там и делали. А вы что, тоже верно из «своих»? — обратился он ко мне.

Долго не верили мне, что я — обыкновенная, мирная гражданка, мужняя жена и больше ничего. А когда поверили, спросили:

— А муж ваш где работает?

— В Цека водников, — ответила я.

— А он что там делает?

— По культурно-просветительной части.

— Так муж ваш, значит, фрайер. Что ж это вы за фрайера вышли?

Что меня больше всего поразило, так это их чисто детская наивность и доверчивость. А между тем, обоим старшим было уже 19 и 20 лет. Очевидно, профессия, сопряженная с опасностью, не всегда делает людей осторожнее, и мне стало понятно, почему преступники так часто самым нелепым образом попадают.

Они даже сообщили мне о своих специальностях. Самый младший по профессии — карманник, «работает» больше на базаре и в трамваях. Второй — обычно специализируется на сберегательных кассах и почтовых отделениях. Но в данный момент дела у всех троих идут скверно и они довольствуются чем попало, даже самым презренным с воровской точки зрения делом — кражей белья, вывешенного для просушки. Дело свое они очень ругали, говорили, что «больно беспокойно — никогда покою нет для души», да еще в последнее время «очень уж конкуренция велика — много “своих” развелось».

— Я уж лучше бы на какую ни на есть службу поступил, кабы приняли, — добавил младший. — А ну его — этот риск. Зачем он мне? Из-за каждого червонца сколько переволнуешься, — настаивал он.

И я поняла, что передо мной просто не имеющий ничего — даже уменья работать — мальчишка (а, значит, пролетарий в кубе), еще недавно беспризорный ребенок, без вся-

кой хотя бы чисто эмоциональной идеологии, совершенно пустой изнутри, не умеющий еще ни думать, ни любить, ни добиваться каких бы то ни было целей. Кинематограф, пивнушка — вот и все. Даже самогон и девчонка — больше для шика.

Я подумала, что именно таких вот, лишенных всякой частной собственности, даже духовной частной собственности, расстреливают большевики за «бандитизм». И еще подумала, что все что угодно, только не это прощу я советской власти.

В это время один из ребят встал, покачал на ладони пяточок и подбросил его. Пятачок упал «орлом», вернее — серпом и молотом — кверху.

— Фарты будут, — радостно воскликнул парень.

— Это что же такое «фарты»? — осведомилась я.

— «Фарты» — удача. «Фартовый парень», значит — удачливый. Примета есть: «орел» выйдет — будут «фарты».

Потом все трое ушли. Я пожелала им успеха и всяческих фартов.

Письмо десятое.

(ТАМБОВ. — ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ.)

НЭП — не очень спокойный, но все таки успокоительный — более уверенный, чем верный, — доплескался и сюда, до монастыря, возвратив монастырю часть его прежних обитательниц... И, пугливо оглядываясь, вернулись они с узелочками, иконами, божницами, пасхальными яйцами и деревянными пяльцами. Вернувшись, долго кропили углы святой водой, прежде чем размещать иконы, — выкуривая безбожный дух (— «Шутка ли сказать, — сколько времени большевики хозяйничали, — в монастырских стенах кощунствовали да сквернословили!») — и наладилась жизнь своим чередом.

Строгого прежнего устава и в помине нет, — нет былого чинопочитания, — оно и понятно: если раньше многое в монастыре держалось строгостью, то сейчас все решительно зависит от одной лишь доброй воли монахинь и послушниц... Те, что были помоложе, поповерхностней, — большей частью повыходили замуж в годы искушения и рассеяния, пока был реквизирован монастырь, — а вернулись лишь те, в ком сильна тягота к родному монастырю и в применении к кому, значит, всякая игуменская строгость была бы излишня...

Много детского в них — в этих девушках, уже не молодых, но никогда не знавших реальной жизни — той жизни, за которую цепляться надо зубами и в которой так легко и незаметно стираются с души и любезная ласковость, и игрушечное благолепие, и даже сама честь... Прожили они здесь лет по 30-40, как расписные яйца и пучки вербы в горке, — кормились трудом рук своих — вышиваниями по атласу и бархату, — стеганьем одеял ватных, — работали, правда, — иной раз далеко за полночь, натруживая слабое зрение, — но самой когтистой борьбы за существование все-таки не знали, ибо на них только р а б о т а лежала, забота

же лежала на других...

Вот хотя бы матушка Антония. Вступила она в монастырь семнадцати лет, соблазнившись рассказами родной своей тетки, монахини этого же монастыря...

«Самый счастливый день моей жизни был день пострига» — говорит матушка Антония и глаза ее — голубые, детские, ясные — блестят неподдельной радостью теплого воспоминания. Она любит рассказывать об этом дне, описывать торжественную церемонию пострижения... Лицо у матушки круглое, щеки — розовые, девичьи, — морщин почти нет, — и, если бы не белые, как ризы на иконах, — волосы, — ее шестьдесят лет смело сошли бы за семнадцать...

Молится матушка тихим спокойным шепотком, — ласково и ровно, — сразу видно, — не грехи замаливает, — не груз сваливает с души, а только беседует о своих маленьких делах с давно знакомыми, и оттого — уже родными, — угодниками... И четки теребит, словно девушка, гадающая о суженом — лепестки цветка...

В келье матушки Антонии чисто, бело, и от чистоты — весело... Убранства и украшений никаких нет, и только множество икон блестит, горит и играет, да белоснежная белизна салфеток и скатертей отражает этот блеск...

Все три послушницы любят матушку, как родную мать — одна из них так даже и зовет ее: — «Мама», — вместо «матушка», — и целыми днями склоняются над пяльцами с очередными одеялом четыре деловитые головы... Выполняют и другие рукоделия, — шьют на заказ белье.

Странно было видеть, как девственница-монашенка, в глухом целомудренном платье, трудилась над батистовыми «комбинезон», явно предназначенными для разжигания похоти и прельщения плоти... Но времена настолько тяжелые, что одними рукоделиями не прокормишься, и стали монашки, в виде подсобного приработка, — сдавать комнаты в кельях... И вот появились в кельях первые мужчины... Монастырский кот шарахнулся в сторону от новых квартирантов, — его, как видно, забыли предупредить о будущих жильцах, — а одна из послушниц кокетливо сказала:

— Это он мужчин боится... Потому не привык: в девичьем монастыре вырос!.. К женщинам он сразу идет.

Питаются монахини более чем скромно, общего стола нет; в каждой келье готовят отдельно... Сколько зарабатывают в неделю, — столько и проедят... В постные дни едят капустный навар и пшеничную кашу пополам с вареной картошкой (кушанье это весьма распространено в Тамбовской губернии и называется здесь — «сливни»...) с подсолнечным маслом... В скоромные дни едят почти то же... Только разговляются... стаканом молока или молочной лапшой. Рыбы почти не едят даже по праздникам...

Подрабатывают на жизнь и «по специальности»: ходят на целые ночи читать псалтырь по покойникам...

Круг интересов у всех этих девочек-старушек крайне ограничен: почему кот Вася пришел сегодня домой раньше, чем вчера? — Успеть — или не успеть к завтраму достегать заказанное одеяло? — Чем бы лучше разговестись в следующий праздник, который будет через два с половиной месяца, — молочной ли лапшой или галушками с молоком? — Не сготовить ли завтра вместо приевшейся пшенной каши — каши гречневой? — Сумеет ли справиться мать-регентша с воскресной службой, когда она уже дня два, как охрипла? — Что сказала матушка-казначей про матушку-просвирню, с которой она полгода в ссоре?

Вот темы их бесконечных разговоров... Утощать их чем-нибудь сладеньким так же приятно, как — маленьких детей... Если угостить послушниц конфетами — они их не съедят, а тут же побегут показывать друг другу и матушке Антонии, будут сравнивать все конфетки между собой, — и уж непременно каждая поделится с матушкой Антонией, которая сама — большая сластена и лакомка...

— А что, — как моложе были, — не скучно вам здесь казалось? — спрашиваю я у одной из послушниц.

— Эх, — когда моложе были, — чего-чего мы тогда не выделявали!.. Сберемся, бывало, во дворе на лужайке в горелки играть... А матушки смотрят на нас — радуются...

Или еще, бывало, — как вечер: приходит матушка к нам наверх, — мы, послушницы, наверху, во втором этаже

спали, — и говорит: — «Ну, девочки, пора спать!...» — Она нас, бывало, не «сестрами», а «девочками», — все называла... Мы обождем, пока она за дверь, — и босиком, чтоб не слышно было, — собираемся все в кучу, — до самой полночи шушукаемся.

Только раз случилось мне видеть серьезное и даже недоброе (очень недоброе притом) — выражение на приветливых лицах монастырских обитательниц: это, когда «живо»-священник с представителями своей общины — приходили посмотреть монастырскую церковь, которую собирались отобрать у «тихоновского» монастыря... Лица монашек сразу стали суровыми и заговорщическими:

— «Не дадим церковь!.. Искони — наша была... Пусть “живцы” свою сами строят!.. Ишь, проклятые, — к чужому добру подбираются!..» — И с ненавистью следило множество глаз из всех келий за проходившим по двору живоцерковником... Я заговорила с монахинями о «живой» церкви. Оказалось, они весьма смутно представляли себе историю и причины церковного раскола, — цели и задачи живоцерковников совершенно не были им известны, — как, пожалуй, для большинства ортодоксально-православных кругов русского населения, для них живоцерковники были просто подхалимами перед советской властью, «шкурниками», «предателями церкви Христовой» и т. д., а отсюда и — ненависть к ним...

Письмо одиннадцатое.

(САРАТОВ. — ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ.)

Волга, как огромная, развесная, свежепросольная рыба, плоско уложена в берегах и поблескивает на солнце чешуей. Пароход быстро скользит по ней, точно отточенный нож в проворной руке рыбака, и вкусным ломтем отрезает волну. На дебаркадере тесно. Пароход еще не подошел, но народ уже заранее теснится, толкается, устремляется к тому месту, к которому сейчас будут спущены сходни с парохода.

— Куда едут эти люди?

Из Астрахани в Нижний. Из Нижнего в Астрахань. И в ту и в другую сторону — с одной целью — «пристроиться». И каждый почему-то верит, что если плохо, непереносимо ему у себя дома, то где-то в чужом городе, где ни дома, ни родных, ни знакомых — должно же быть лучше. Ибо по самой природе человеческой никто не хочет поверить, что жизнь просто упустила его из виду, не отвела ему места за столом.

— Должен же я чем-нибудь жить? — вот единственный и эмоционально неопровержимый довод, которым ответит вам каждый такой переселенец на яснейшие ваши доказательства, что пристроиться ему там, куда он едет, не удастся, и что ехать ему вообще незачем, потому что — некуда... Едут все: безработные, обнищавшие во время голодных годов крестьяне, и по сию пору не оправившиеся; кустари, замученные налогами, не выдерживающие конкуренции.

Пароход подошел. Толпа кинулась, сбивая друг друга с ног. Кого-то уже ведут в местное гепеу, по подозрению в покушении на чью-то котомку. Владелец котомки давно уже на пароходе — ему некогда возиться с предполагаемым похитителем, он впопыхах просто указал на ближе к нему стоящего из толпы, а несчастного задержанного долго еще будут допрашивать и передопрашивать.

С берега бабы с чайниками и даже целыми ведрами бегут на пароход за бесплатным кипятком, еще увеличивая тем давку, — многие из них даже белье стирают пароходным кипятком.

Наконец, пароход отходит. Первый и второй класс почти пусты: два ответственных «товарища» проводят отпуск, жена и теща капитана, один ревизор, и некто, командированный Цека водников, разумеется, с бесплатным проездом. Больше — никого. Зато значительная часть пассажиров третьего и четвертого класса осталась на пристани до следующего парохода, за неимением мест.

Они расселись семейственными кучками на полу дебаркадера и на траве возле пристани. Много в этой толпе немцев-колонистов и татар-крестьян. Они группируются по национальностям. Семьи в дороге давно перезнакомились друг с другом, но за котомками своими все-таки боязливо присматривают.

— Отойди, мать твою!.. Эй, мать твою!... поберегись!.. — то и дело раздается над пристанью. Отупевшие от тяжести грузчики, точно караван горбатых верблюдов, ползут с протяжным ревом взад и вперед. Листы железа, мешки с мукой, ящики с помидорами — какой только поклажи не побывало за день на их спинах. Кто-то из артели загрезился: стоит в стороне и мечтательно-медлительно поплевывает в воду. Товарищи усовещивают: «Что стал так? Кто за тебя таскать должен? Мы, что ли?».

И опять ползут унылые человеческие караваны...

— Эй, ты, — окосел, что ли? — Барышню чуть не пришиб!.. Это тебе не наша тамбовская, которую дави почем зря!.. — кричит грузчик завоевавшемуся приятелю. — Тут если пришибешь, — вовек не отвертишься...

Рассказывали мне грузчики такой случай... Рассказывали злобно, непримиримо.

— Позапрошлым летом такая, мол, штука вышла: вздумали-де грузчики из своей же артели старика дразнить... — «Ты, мол, старик, уж плох стал... — Какая уж твоя теперь работа?.. Тридцать с лишним лет грузил, а против молодых не устоишь... — Задело старика... — «Вы что, — мелкота! В

наше время поздоровше народ был... Вы против меня — что?!» — Взял, взвалил на спину поклажу — так вдвое против обыкновенной — и понес... — Отнес на баржу, свалил и назад еще вернулся; идет — улыбается, криво этак...

— «Ну, что — донес?!» — говорит, — да тут и повалился мертвый... Ущемленная грыжа...

Когда все очередные пароходы и баржи разгружены и вновь нагружены, — тогда наступает временный перерыв в работе, иногда на полчаса, иногда на несколько часов — смотря по тому, когда прибудет новый пароход...

Грузчики ленивой неработной походкой подымаются вверх, на пригорок и на самом солнцепеке ложатся на землю, как настоящие верблюды... Мухи прилипают к потным, липким лицам, — но солнце вряд ли обжигает эти насквозь прожженные и прокаленные горячим трудом тела.

Если работы много и заработок относительно велик, некоторые позволяют себе роскошь:

— Ну, тетка Агриппа, — больно молоко у тебя сладкое! Давай-ка сюда полбутылки холоденького!..

Или:

— Почем пельмешки, бабка? — <нрзб.> штук — гривенник? — Давай-ка сюда полсотни!..

— Сейчас, родной, сейчас!.. — сразу оживившись, суетится бабка. — Тебе и выюшки подлить? — Иль без выюшки?..

Но чаще всего берут — порцию картофеля, о котором никак не решить — вареный он или пареный; порция — 15 копеек...

Как раз напротив — ухмыляется лоснящейся свежеевыкрашенной рожей вывеска столовки ТОПО. Но туда грузчики не идут. — Не по карману...

Столуются они всей артелью у себя на ночевке, продукты закупают сами, стряпает специально нанятая артелью стряпуха. Я пробовала заговаривать с грузчиками во время таких перерывов в работе. Они вначале отвечали неохотно.

— Чего это вы нас все щупаете? — запротестовал один из них на мои вопросы об их житье-бытье. — И кто только

нас не шупает!.. Чего только вам — интеллигенции — от нас нужно?..

И тут же ехидный вопрос:

— Вы, мадамочка, случайно, не коммунистка будете?

— Верно, из социалисток-революционерок или, может, из эсдечек?

И еще большее издевательство, и безграничное презрение всколыхнулось в голосе.

Поистине, недаром русская интеллигенция столько времени обходила и обхаживала именно эту, наиболее пролетарскую часть русского пролетариата, недаром умиленно пела «Дубинушку», «Бурлаков» и прочие песни грузчиков и о них — это, действительно, в настоящий момент по крайней мере, наиболее сознательная часть русского рабочего класса, и первая классовая истина, которую усвоили волжские крючники, была та, что всякие интеллигентские разглагольствования, все равно — коммунистические или соглашательские, ни малейшей реальной пользы никому, кроме самого оратора, не приносят. — Не доверяй интеллигенту, который к тебе лезет... — думает грузчик. — Отцепись!.. — огрызается он на всякую агитацию и пропаганду.

Но худший его враг, это — Комитет водников, комитет их же, грузчиков, профсоюза... Потому что всякий член этого профсоюза отчетливо видит те отчисления, которые приходится ежемесячно уплачивать в союз, и лишь в исключительно счастливом случае удастся ему испытать реальную помощь, которую в свою очередь оказал бы ему союз...

— И на кой черт содержим мы этих дармоедов?!.. — с горечью говорят грузчики о своих секретарях и прочих профсоюзных деятелях. — Попробуй-ка забастовать, надбавочки попросить — он, профсоюз, так тебе поможет — получше царской жандармерии.

Но есть у грузчиков другая спайка, живая, цепкая — не то, что бумажно-митинговая «солидарность» профсоюзов: грузчик всегда последним поделится с товарищем, не только последним хлебом, но и последним глотком самогона, — может быть, потому, что все равно не имеет возможности

и не привык скапливать частную собственность. Все равно на старости лет умрет он от недоедания и нищеты — в те обидные и унижительные годы, когда работать не станет больше сил, — или будет ютиться нищим приживальщиком возле артели грузчиков.

Письмо двенадцатое.

(ЛЕНИНСК. — ГОРОД И ДЕРЕВНЯ.)

Автомобиль наш легко и ловко щекотал землю, а земля — русская крестьянская лахудра, ко всему равнодушная, с тупыми нервами, — даже не хихикала под этим непривычным ощущением.

В деревнях — глазели. Но глазела больше молодежь. А старики, которым это зрелище должно бы было казаться особенно необычным, — просто игнорировали наш автомобиль и лишь в редких случаях — провожали равнодушным, не совсем доброжелательным взглядом.

Мелькали деревни, — русские, татарские, мечети странно и красиво контрастировали с церковками. Решительно не идет ислам срединной России.

И даже югу русскому идет не везде. Ислам требует жары, солнца, экзотики, — он у себя дома на Кавказе, в Крыму и в Туркестане; а в Поволжье, выше Астрахани, он какой-то странный, словно забитый.

Вот едем мы мимо большого села — три мечети в нем и две церкви — торговое село.

День воскресный, гуляет село.

Тут и гармошка, и частушки, и семечки, и самогон.

А только что это?

Да рази ж это девчата? Али, может, городские какие навестить приехали? Нет, что-то больно много — не все же село из одних приезжих состоит. Это все свои же, сельские девчата.

А на девчатах — высокие ботинки с французским каблуком, коротенькие, немного подлиннее колен, юбочки, а больше всего — легкие белые платица, коротенькие, декольтированные и без рукавов.

А посредине площади — кружится толпа в водовороте

человеческом. И доносится оттуда:

— Сливочное мороженое!.. Сливочное мороженое!..

Я спрашиваю:

— Это что же, из города, по случаю праздника, мороженщик?

— Да нет, — отвечают, — свой, деревенский. Каждое воскресенье, да и по пятницам (мусульманский праздник) торгует.

Сарафанов сейчас на Руси и в помине нет. Это только «вдовствующая императрица» и Крупская во всех госиздатовских магазинах в сарафане выставлена и внизу надпись: «Редкий снимок: Крупская в сарафане».

В толпе молодежи наш автомобиль вызывает хотя и не сенсацию, но все же — повышенный интерес. «Барышни» как-то по особенному, по «интеллигентному», не так, как своим деревенским, строят шоферу глазки, а парни смотрят на него с затаенной завистливой злобой и напускной насмешливостью.

Но шофер наш не совсем твердо знает дорогу дальше и просит кого-нибудь из парней сесть с нами — показать.

— Ну, я, што ли. Ведь ненадолго? — словно нехотя, но тем не менее поспешно, не успел бы кто другой пока вызваться, соглашается один из парней.

И вот он уже несется рядом с шофером «на машине» и не может сдержать растекающуюся лучами глуповато-блаженную улыбку, когда навстречу нам попадает группа сельских девиц.

— Он теперь недели две, по крайней мере, будет считаться завидным кавалером, «на городской машине ездил».

В город Ленинск — честное слово, читатель, он считается городом — мы приезжаем, когда уж совсем темно.

Два-три неярких огня освещают нам въезд — это огни у ворот Дома приезжих.

В Доме приезжих бывают обеды и ужины, но сейчас уже поздно и мы отправляемся на поиски ситного и колбасы.

Нет, поистине, Ленинск — город: напротив самого До-

ма приезжих — ларек. А в ларьке — ситный и даже колбаса местного изготовления. Впрочем, последнюю хозяин ларька не советует покупать:

— Не берите вы ее, граждане. Я вам добра желаю. Потом сами жалеть будете. Она уж лежит-лежит, не знаю сколько. Оно для местных жителей, конечно. А вы как-никак из губернии...

Любезный хозяин ларька дал нам приблизительный адрес (сперва — направо, потом — налево, потом — прямо, а дальше спросите...) местной колбасной... В темноте найти было очень трудно. Но, как на счастье, навстречу — две-три местные городские барышни...

— Скажите, барышни, как пройти в колбасную?..

Барышни, конфузливо хихикнув, закрываются рукавом и убегают. Мы невольно вспоминаем общительность и светскость только что виденных нами сельских девиц...

В темноте искрятся зажженные папироски... Уши щечок легкий матерок... Идем на матерок.

— Скажите, граждане, как бы нам в колбасную пройти?..

— Сейчас вы не пройдете...

— А что, разве уж заперто?..

— Да оно не в том то дело, что заперто... А так, что вчерась двух конокрадов поймали...

— Ну, так при чем же тут колбасная?

— А так, что они, значит, в домисправе сидят...

— А в колбасную пройти вам ведь домисправовским двором нужно, так вот в те дни, когда в домисправе кто сидит, через двор никого и не пускают.

Когда мы вернулись к единственному светлому пятну Ленинска — пятну, отбрасываемому фонарями Дома приезжих, в глаза нам бросилась афиша, писанная от руки, видимо, старательным и малограмотным человеком:

Семейство Ивановых.

С собачками.

И многие прочие дивертисменты.

Мы отправились на семейство Ивановых с собачками. Семейство сие, как мы увидели, состояло из разбитного добродушного парня лет шестнадцати, ловкого и остроумного, появляющегося на сцене то дрессировщиком собак и белых крыс, то — через пять минут — клоуном, и умеющего занять публику, — и старой матери его, переодетой мальчишкой, в кепке и брюках клеш...

Старческий голос ее звучал застенчиво и жалко и она все время ошибалась и, по привычке, говорила о себе в женском роде, когда подавала сыну реплики... тут же поправляясь и это выходило еще <хуже>.

Публика хлопала каждому номеру, но в то же время раздавались выкрики:

— Мало! Мало! Еще!.. За билет <дву>гривенный плачено.

Ленинск отстоит от железной дороги верст на сто. Сообщение со Сталинградом — только на лошадях...

Во всем городе — ни одной мощеной улицы и даже ни одного мощеного тротуара.

В городе — три рояля. Один в клубе, — другой в школе второй ступени. Впрочем, когда нужно для концерта, берут третий, принадлежащий какому-то частному гражданину, так как первые два поломаны и расстроены, а настройщика в городе нет. Педагогический персонал в ленинских школах работает по принуждению: в порядке партийной дисциплины посылают из Сталинграда учителей и учительниц, членов партии или коммунистов, так как добровольно никто не едет...

— Хороший город — Ленинск!..

Письмо тринадцатое.

(ПЕРЕЯСЛАВЛЬ. — БОТИК ПЕТРА ВЕЛИКОГО.)

На станции толпой окружают ямщики. До города пятнадцать верст, они наперебой предлагают свои услуги:

— Со мной, со мной поедem, барышня... У него конь плохой, — не довезет. Да и сам — ледащий.

После неизбежной толкотни и суматохи мы усаживаемся.

Хорошие возки у переяславцев — крытые, с фанерным верхом, чтобы укрыть от ветра. Настоящий автомобиль на полозьях! Я видела среди возков даже целые рессорные помещицы кареты, обращенные в сани.

Впрочем, внутри наш «автомобиль» совсем не роскошен: всюду торчат гвозди, окон нет; на досчатое сиденье брошено сено. Но сидеть удобно, хоть и темно. Со скрипом поворачивается наш «автомобиль» и постепенно приходит в движение. От теплоты, от мерного покачивания, от надрывающего воя ветра снаружи — засыпаю.

От внезапного грома просыпаюсь. Гром оказывается стуком возницы в стенку возка:

— Вставай, барышня, не спи. Приехали.

Выхожу с заспанными глазами в полутемный, плохо освещенный трактир. Внутри он уютнее. Подают горячий чай, ситный и замечательно вкусные переяславские копченые сельди.

Номер в трактире — он же гостиница, единственная во всем Переяславле — чистый, но, конечно, с клопами.

Перед сном интересный разговор с соседкой из общего отделения. Она жалуется:

— Никак не могу с мужиками спать. Хоть бы отвели под нас, женщин, отдельную комнату. А то прямо совестно. Заведующий себе забрал целную квартиру, а нас, женщин, утеснил, хочь и партейный. Уж мы жаловались. А он говорит: — Спи в общей, ежели ты сознательная. Это все из

буржуазного класса предрассудки. А не нравится, — иди в номер. А номер-то самый маленький — полтора рубля. А где их взять-то? Я вот делегатка на съезд по землеустройству — дают шестьдесят копеек в сутки, а из них двадцать пять отдай за помещение. Вот и кручусь тут вторую неделю, маюсь. В другой раз откажусь, — пусть лучше не выбирают.

Лицо у собеседницы хорошее, открытое, круглое, с удивленно-обиженными детскими глазами.

Утром Переяславль хорош. Хрустит снег под ногами и вкусно и свежо. А солнце заливает сверху кипятком лучей рассветные крыши и церковные главы. Блеск солнца наверху и блеск снега внизу. Чуть слепит в глазах. Хорошо!

Осматриваю достопримечательности города. Их две:

Уже упомянутые вчерашние селедки. И ботик Петра Великого. Отправляюсь осматривать ботик, так как с селедками я уже знакома.

По дороге служащий местного политпросвета знакомит меня с замечательным священником. Благородное, впавшее, полное достоинства лицо, — совсем замучили старика большевики. Отобрали приход старой церкви (отец Георгий не дружит с живцами). Но не поддался старик: сапожной работой содержит себя и семью. Хорошим сапожником стал священник. И несут обувь в починку прихожане своему пастырю.

— Я от веры своей не откажусь, — говорит он мне. И вспыхивают упорством старческие, но молодые глаза.

Он угощает нас медом и мы едем дальше.

Кроме ботика, в городе оказывается музей.

Сторож, кряхтя, вынимает заржавленный ключ и протаптыкает неторопливо свежий след по глубокому снегу к двери: редко кто зимой заглядывает в музей.

Открываются двери и нам показывают достопримечательности, — такие странные сейчас, — реликвии великого Петра в обнищавшей, оскудевшей большевистской России: ядра, пушки, весла, старинные канаты. По стенам — выцветшие картины и гравюры.

Сторож просит расписаться в толстой, пыльной, холодной, пахнущей чем-то мерзлым книге. Расписываюсь.

— Что это? — Среди подписей вижу: широко наляпано посреди страницы:

— «Нарком Луначарский».

Неужели он был здесь? Сторож, оживляясь, дает пояснения. Служащий политпросвета тоже.

— Как же, приезжали. В позапрошлом году. Об весеннее время. И с ними — две мамзели. Сами — важнеюшие и толстущие, а мамзели — тоненькие. Два раза, поди, заходили. И мне рублевку дали. — «Ты, — говорят, — стар очень... (это я, то-ись). Тебе бы на социальное обеспечение нужно. Но если сам хочешь, — служи».

Служащий политпросвета рассказывает, что все они очень боялись, пока наркомпрос был в городе.

Осматриваем ботик Петра Великого. Он весь в снегу. По борту широкая расходящаяся трещина. Говорит сторож, что весной ремонтировать собираются. А только, наверно, опять отложат ремонт, как и раньше было.

Хотя солнце по-прежнему высоко, — делается холодно. Сторож советует еще заехать в монастырь — четыре версты крюка — но мы возвращаемся обратно.

Уныло висит выцветший красный флаг над вывеской: «Переяславский Совет рабочих...» — и т. д. — депутатов, и кроме него, да, пожалуй, еще постового милиционера, форменная шинель которого чуть виднеется из-под громадного тулупа, ничто не напоминает, что улица эта — советская.

Идут мешаночки с ведрами на концах расписного коромысла, горланит песню пьяный в валенках и без шапки, и возятся в снегу, играя, две громадных буро-коричневых дворняги. Направо — базар (сегодня местная ярмарка), такой же, вероятно, каким он был от века. — Где же новое? В чем оно?

— Жалованья второй месяц не получаем, — говорит служащий политпросвета. — Совсем оборвались, обнищали. Кто может — бежит в губернию. Совсем пропадешь здесь, в Переяславле нашем.

Дешевы только селедки. А на все остальное цены — ой! — московские.

А потом еще наши партийные сами всего боятся... Поэтому — еще больше прижимают.

Маленькому человеку жить трудно. А если торговлишку завести, — сейчас — из союза вон, да и со службы — вон. А потом налогом придушат. У нас все торговли позакрывались из-за этого. Одними только ярмарками и живем. Если бы их не было, — уж не знаю, что и делали бы...

Худо живем, — худо. Серая наша жизнь, скучная. Хорошо, что хоть танцы теперь разрешил исполком, а то раньше и их запрещали. Вот и отплясывает молодежь. Да вечером — с гармошками и девками. Тут и вся радость.

Хотели кино устроить, да что-то все не выходит.

Подъезжаем к трактиру. Прощаемся.

Обед из борща и яичницы и, конечно, с неизбежными селедками.

Вечер приходит быстро. Неяркий, без шума и без огней. И сразу хватает холодом землю и здания. Мерзлая хрустящая тишина и собачий вой.

Наутро я уехала из Переяславля.

Письмо четырнадцатое.

(В ДОМЕ СОВЕТОВ.)

В одном из домов Совета — их <так> много по Москве — в том самом, где один из этажей отведен под венского коммуниста — Бела Куна, и где вообще жильцы более или менее «партийные», сановитые, «коммунисты», — затесалась как-то случайно самая что ни на есть обыкновенная, ничуть не сановитая гражданка...

Кряхтит и вздыхает день-деньской, — живет тем, что берет на дом стирать белье... Впрочем, если вы ее спросите, чем занимается ее муж, — она, чуть сжимая губы, словно наслаждаясь впечатлением своих слов на вопрошающего, томно и коротко ответит:

— Он во ВЦИК'е служит...

И он действительно служит во ВЦИК'е... По крайней мере — служил. При лифте. Теперь уже не служит.

Случилось это так: тов. Андреев поднимался как-то на вциковском лифте... И вдруг — содрогнулся... Перед той страшной опасностью, какая угрожала всей советской стране: служащий при лифте... оказался пьяным. Шутка ли сказать — на таком ответственном посту и вдруг — в подпитии... Не стерпел тут тов. Андреев... Пустил в ход героические меры: ценился в волосы злополучному служителю и за волосы вытащил его из лифта. Служителя, разумеется, рассчитали...

Так рассказывала мне, захлебываясь от восторга перед строгим, но справедливым поступком Андреева, коммунистка со стажем, обитательница того же этажа дома Совета.

В доброе старое, еще крепостное время, какой-нибудь старый дворецкий с таким же восторгом и благоговением сказал бы: «Строгий были барин (это про тов. Андреева)... Терпеть не могли этого беспорядка... Чуть что, — и за волосы, за волосы...»

А пока что бывший служащий ВЦИКа — <угрюмый> инвалид гражданской — оставшись безработным, помогает жене таскать ведра для стирки. Дому Советов эта чета несомненно полезна. Ибо никто в доме не несет так добросовестно кухонных дежурств, как эта женщина, измученная непрестанными стирками... Никто, кроме мужа ее, никогда не догадается вынести помойное ведро...

Время обеденное — часа три, четыре. Пять-шесть примусов (по количеству комнат в этаже) лучатся синеватыми венчиками. Пять-шесть «домашних работниц» (по количеству ком-семейств в этаже), красные, запотелые и шипящие — <...> накаленные сковороды — наклоненные над примусами...

Яичница, телячья отбивная, снежки с обильным соусом, какао — смешиваются в один нестерпимо вкусный запах...

— Даша! — доносится через весь коридор из крайней комнаты строгий резковатый голос. — Скоро у вас там? — Дети с самого завтрака ничего не ели!..

И другой голос, параллельный:

— Феня! — Сколько раз я вам говорила: ребенок должен гулять не меньше двух часов в день... А вы гуляли с Лялей меньше чем полтора часа!

Третий голос несется перпендикулярно к двум первым — обиженно-жалобный:

— Стеша!.. Вы опять не так зажарили яичницу!.. Такую яичницу я не могу есть!..

Затем голос внезапно смягчается, делается великодушным:

— Можете взять себе... Вы слышите?

Самих коммунарок в кухне не видно. Если и заглянет туда какая-нибудь из них, то лишь -- поторопить прислугу, сделать выговор, дать ей последние инструкции, как подать по красивее загарнированное блюдо гостям...

Прислуги же несут обязательные для всех жильцов дежурства по уборке кухни, ванной и уборной... По правилам жилтоварищества, дежурства эти распределяются подушно, так что прислуга семейства, состоящего из семи человек, дежурит семь вечеров подряд, а служащая в небольшом се-

мействе из трех душ — дежурит только три вечера...

С неостывающим лицом, чуть прихрамывающей от спешности рысцей мечется немолодая уже прислуга между кухней и ванной комнатой... Хозяйка ее — ответственная товарищ Н. — собирается принимать ванну...

...Что в высшей степени характерно, так это необычайно большое число разведенных жен среди коммунарок. Коммунистки в массе неудобнейшие, неласковейшие жены и далеко не всякий даже разидейнейший коммунист стерпит длительный брак с типичной коммунисткой.

Если она искренняя, — идейность ее легко переходит в сварливость и неуступчивость... Если — шкурница, соединяет в себе все пороки мелочной мещанки с ломаньем под «идейную», полным отсутствием домовитости и необходимой в каждом браке известной доли минимальной сентиментальности...

И вот на деле браки с коммунистками редко бывают счастливыми... Матерями, напротив, они чаще всего бывают самыми нежными, бережными... Отношение их к детям самое неплакатное и ничего общего не имеет с идеалами социального воспитания, закаливания, пионерского движения... И далеко не каждая ответственная мамаша пускает своего ответственного детеныша в ясли, детский сад, пионерское звено, где он — упаси Боже! — может набраться вшей и инфекций от «неквалифицированных» детей...

Не может быть никаких сомнений, что беспартийному устроиться в доме Совета почти невозможно; и что — с другой стороны, нигде во всей Москве жилец не найдет столько чисто технических удобств, как именно в домах Совета... И все-таки — как заблуждается тот наивный обыватель кубической площади, который завидует «счастливым» коммунистическим семьям из Дома Совета! Они вовсе не счастливы. Ибо коммунисту среди коммунистов все равно не житье...

Если обыкновенному смертному соседи могут сделать лишь двух сортов гадость — выселить его с кубической площади или донести на него фининспектору, — то сколь многогранно, разнообразно и пикантно может подложить сви-

нюю коммунисту сосед-коммунист.

Распространить слух, что тот когда-то тайком перекрестился... Привлечь к компрометирующему процессу за эксплуатацию прислуги... Объявить оппозиционером... Свить быстрорастущие легенды о буржуазном окружении... Выискать и присочинить соседу буржуазных родных... Ославить анархистом-индивидуалистом... Одним словом, если прочему советскому гражданину можно напакостить слева, то коммунисту можно в любое время подстроить пакость и справа и слева...

— Вон соседка мне всячески старается навредить... — с невинным видом жаловалась мне одна коммунистка. — А за что, спрашивается? За то лишь только, что я про нее заметку пустила в стенную газету — «Партийные в Бога верят». — А я против нее ровно ничего не имею... Просто у меня в тот момент темы не было. А писать в стенную газету — нужно... Дай, я думаю — напишу про нее...

А в общем — быт, как быт... И люди они немногим хуже всех прочих... И только одна мысль, простая и неотвязная, вертелась у меня в голове:

— Почему эти люди считают себя коммунистами?

Письмо пятнадцатое.

(ПОЛНЫЙ ПОКОЙ. — КОЗЛОВ.)

— А воровство у вас здесь в Козлове случается?

— Редка-а... Чавой-то не слышать.

— А трамвай есть?

— И где-и уж там!

— Театр есть?

— Как же! Как же! каждую зиму гастролеры ездют.

— А проституция есть?

— Эта бывает — случается. По главной улице ходют. Да вон она, проституция, идет! — указал мой собеседник кнутом на густо напудренную широкобедрую девчонку лет пятнадцати с челкой на лбу...

— А нищие есть?

— Этого сколько угодно. На базаре. Да и так тоже.

Так нащупывала я город Козлов по дороге с вокзала в гостиницу. Трамвай, частые и крупные уголовные преступления, уличная проституция и постоянный театр — вот атрибуты города. Если они отсутствуют, то налицо просто большое село, почему-то именующееся городом.

Но нищие в Козлове все-таки есть. Извозчик говорит, что много. Значит, в Козлове много пришлого элемента.

— Вот она, гостиница то-ись, куда мы едем! — опять указывает извозчик кнутом. У входа милиционер и другой парень — в штатском — затаскивают в двери двух девчонок. Те сначала идут, потом начинают упираться. Конфузятся. Боязливо оглядываются по сторонам. Наконец, одна из них, та, что повыше, говорит, отходя вместе с подругой в сторону, кавалерам:

— Проходите... Мы потом придем...

Внизу, под гостиницей — ресторан. Народа в нем немного: я, зашедшая поужинать с дороги, и двое толстопузых за соседним столом.

Толстопузые под хмельком. Один из них, тот, у которого пузо потолще, бахвалится:

— Мне, черт их мать... что при старом режиме, что при большевиках, житье не горькое... Конечно, раньше все по-чету больше было... Бывало, все — Семен Иваныч... Везде — Семен Иваныч... Всему Семен Ваныч — голова... Да ты, небось, помнишь?

— Как же, Семен Иваныч, как же... Как не помнить! — заторопился второй, у которого пузо поменьше.

— Однако, и теперь живем. Чем не хорошо? Вот многие на милицию жалуются. А я, наоборот, одобряю. Потому, я сейчас здесь пью, а кто меня домой отвозить будет? Милиционер... Он уж меня сколько раз домой привозил... Мне же покойнее: так я под хмельком и поскользнуться могу, ногу-руку вывихнуть...

— А намердн... — тут рассказчик наклоняется ближе к собеседнику и дряблым от смешка шепотом продолжает: — не один я был... С дамочкой... И я — во хмелю, — сам себя не помню... И дамочка под хмельком... Милиционер нас двоих домой и доставил на извозчике... Жена отворила, меня приняла, а на нее показывает: «Эта, — говорит, — не наша».

В гостинице я ночевала всего лишь одну ночь. На другой же день перебралась на частную квартиру. К священнику.

Священник относился ко мне бережно-почтительно, как к динамитному патрону (не коммунистка ли еще, чего доброго?) и все расспрашивал о московских новостях. О своих местных делах распространялся крайне неохотно. Был он на всякий случай (а может быть, и искренне) живоцерковником.

— Ну и погодушка! — бормотал однажды батюшка, воротясь от всенощной и выжимая насквозь промокшую рясу. — И охота матушке моей в такую погоду? Ну я, скажем, по обязанности, надо же службу служить. Ну, а матушке-то — матушке зачем в такую погоду?

— Верно, от вас отставать не хочет. Думает, где муж — там и я. Охота послушать вас, как вы служите.

— Ну, уж это вы — пальцем в небо! — с горькой усмешкой прерывает меня священник. — Вы, что думаете, она в моем приходе? Как бы не так! Это она мне назло к тихоновцам ходит. И уж какая ни на есть погода — гроза ли, метель, жарища — все равно идет. Всю работу дома побросает, а дойдет.

Итак, церковный раскол в семействе священнослужителя. Одиннадцатилетний сынок в стачке с матерью: он тоже за «мертвую» церковь.

Быть в Козлове живоцерковником — дело явно проигрышное. Ибо живет Козлов во всех отношениях по старинке и всякие новаторские устремления ему совершенно чужды и непонятны. И когда видишь перед собой Козлов, — совершенно неприемлемой становится философия Гераклита с ее теорией вечного движения. — Нет, воистину, вселенная находится в незыблемом покое. И не только большевики, но даже Уэльсы и Годдары ее не сдвинут.

Письмо шестнадцатое.

(МУРМАНСК. — ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ.)

Хорош пирог-рыбник!..

Берут большую семгу целиком или половину, — не разрезают на куски и даже чешуи не счищают, и запекают в тесте ржаном или пшеничном...

Пекут рыбник не на сковородах, а на капустных листьях. Кроме этих пирогов и свежепросольной семги — утром за-сол, а к вечеру уж едят, — вряд ли что хорошего найдется на побережье.

Экзотика края какая-то убогая: Ледовитый океан похож на мутную необъятную лужу и даже летом не манит, как все другие моря, — в свои воды, не вызывает желание купаться... Вода в нем выглядит холодной, нежилой и немножко противной.

Берег, по-своему, красив: невысокие крутые гранитные скалы, скудно поросшие вереском и мохом, — напоминают героическую бедность и суровую в простоте трагедию.

Плохо жить на Мурмане. И плохо — всем.

Богатым — потому, что даже за большие деньги не купить здесь роскоши, комфорта, ярких развлечений, — нет здесь этого.

Так же, как нет здесь каменных домов, увеселительных садов и... свежего мяса.

Мясо здесь — солонина; свежая бывает только оленина, плотная и жесткая... Местная «буржуазия» питается семгой: уха из семги, вареная семга, свежепросольная семга, рыбник с семгой, и — начинай сначала.

А в мурманской рабочей столовке: первое — суп или щи из явно несвежей солонины, воняющей просолом и разлагающимся мясом, и на второе — не совсем гнилая соленая треска под мучным соусом... И это — каждый день.

Впрочем, рабочие не обедают в рабочей столовке. Обеды там им не по карману. Обедают мурманские рабочие вообще? — Вероятно, — да... Хотя и не совсем представимо реально, если сравнить мурманские цены на продукты с окладом местного неквалифицированного рабочего.

Когда мы приехали в Мурманск, я, глядя из окошка, вполне естественно задала вопрос:

— А что, далеко от вокзала начинается сам город?

— Да вот он самый город и есть... — равнодушно ответил мне кто-то, указывая на несколько длинных, плоских, похожих на каретные сараи, — бараков...

Домов в Мурманске, оказывается, вообще нет. Есть рабочие бараки. Когда разглядываешь их снаружи, — как-то сразу угадывается, как сыро, ветрено и темно должно быть внутри... Но и этих бараков в Мурманске значительно меньше, чем рабочего населения.

Рабочих в Мурманске много. Еще больше — безработных. Откуда бы, казалось, взяться безработному человеку в этом малообитаемом краю?

А об этом уж позаботилась ловкая, хитрая и старательная администрация мурманских работ; рабочих выписывают сюда массами, соблазняют рассказами об отсутствии там безработицы, «климатической надбавкой» к окладу (благоразумно умалчивая о мурманских ценах) — одним словом, суля золотые горы... Рабочие едут, иногда даже — с давно насиженных мест, едут, распродавая за гроши последние пожитки, сжигая за собой корабли.

Приехав в Мурманск, быстро проживают оставшиеся от распродажи деньжонки, и от недостатка питания, сырого вредного климата, отсутствия свежих овощей, — месяца через два заболевают цингой.

Больные рабочие не нужны администрации, — их целыми партиями выкидывают с работ, а заодно и из отведенных бараков.

Администрация не берет на себя труда даже хотя бы отправить больных на свой счет на родину... Так и остаются цинготные люди валяться на полу 3-го класса мурманского вокзала... Кое-кто побирается, кое-кто ворует... Но в

Мурманске не у кого просить милостыни. Не у кого красть. Слишком мало населения, а тем более — мало-мальски имущего.

А новые поезда привозят новые партии здоровых, сильных, надеющихся рабочих...

— Приехали!.. — не то со злобной, не то с сочувственной иронией встречают их живые кучи, кишашие на полу вокзала. Пройдет два месяца — вновь прибывшие будут кишеть здесь вместе с ними.

Так живет пролетариат. А — «буржуазия?» — А — бюрократия? — Сам начальник станции в Мурманске живет с женой в вагоне-гостинице. Там он занимает одно купе, отделенное от общего коридора какой-то занавеской вместо двери... Так он живет уже второй год. В том же вагоне останавливаются приезжие персоны из центра. Гостиничную прислугу заменяют дежурные проводницы этого неподвижного вагона.

Впрочем, вверху, на горе, уже строится другая гостиница, — неподвижная... Улита уже едет.

Сидит молодая жена начальника станции целыми днями в своем купе, дружит от скуки с очередной проводницей, а вечером, когда возвращается муж со службы, они вместе для развлечения идут прогуляться... Пройдясь по граниту, подгибая ногами немнущийся вереск, поглазев с зевотой на все тот же лоскут океана, — возвращаются они домой... Деньги на развлечения есть, но ведь хождение по скалам свободно от оплаты.

Иногда забегает хорошенькая жена помощника. Много щебечет и кокетничает даже с женщинами; верно, чтобы не разучиться здесь на Мурмане кокетничать.

Обе женщины вместе мечтают о том, что где-то есть Питер и даже Москва.

Бывают в Мурманске и «культурные» развлечения: целое лето пробыла там группа провинциальных борцов с «чемпионными» фамилиями. Как в мелодрамах с раз навсегда счастливым концом, и борьба имела каждый вечер один и тот же благополучный исход: главный чемпион побеждал всех прочих чемпионов.

Потом оказалось, что он под этим условием их нанимал и платил им жалованье...

Мурманск еще не город, это еще эмбрион города. И питается он пока еще через пуповину.

Пуповиной этой являются те поезда, которые раза два-три в неделю привозят из Петербурга капусту, картофель, морковь, лук, мясо, муку, крупу, вообще — продукты.

Мурманск не имеет своих продуктов. Ни один род съедобных растений не растет, не принимается на его непроницаемой гранитной почве.

Местные продукты только — треска и семга. «Буржуазия» ест семгу, рабочие — треску. Безработные, вероятно, вообще не едят...

Рабочие болеют цингой, «буржуазия» — острой формой неврастении. Безработные болеют и цингой, и той формой неврастении, которая зовется — отчаянием, и — самой страшной из всех болезней, известных человечеству — безработицей...

Письмо семнадцатое.

(НИЖНИЙ. – СОВЕТСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.)

Много их по всем столичным, губернским и уездным городам России — девушек в незаштопанных по лености, неряшеству, да и за отсутствием иголки с ниткой чулках, с широкой плоской крестьянской ногой, но уже в самой модной, хотя и плохого качества обуви, в пестрых ситцевых платьицах без рукавов, в красненьких платочках и цветных шарфиках, с сильно припудренными неправильными задорными носиками. Под мышкой у них почти всегда трепаные, на барахолке купленные книжки-учебники — физика, политграмота, введение в языковедение, алгебра, в зубах — папироска, семечки или доедаемый бутерброд, а на языке — страх перед экзаменом, и — «Ах, какой наш заведующий курсов симпатичный!», и — «Федька, сволочь, меня здорово к Мишке приревновал!», и еще один настойчиво-назойливый вопрос: «Куда пошлют после окончания курсов?»

Все решительно хотят в столицу или, по крайней мере, оставаться в «губернии», (так называют они губернский город), мало кто стремится в уезд, и всякая горячо протестует против села или деревни.

Девушки эти — курсантки. Курсы по переподготовке для педагогов, — нечто вроде прежнего восьмого «педагогического» класса в женских гимназиях.

Предметов на этих курсах больше, чем в старших классах прежних гимназий и программа обширнее; но проходит она в слишком короткий срок, а потому остается на добрую половину непереваренной. К тому же, уровень развития курсанток очень уж низкий: девушки «рабоче-крестьянского» происхождения, совсем молоденькие, а значит, взросшие на заботах о продуктовых карточках, на единственной «властительнице дум» того времени — пшенной каше, на сплетнях о том, кто с кем живет и из-за какого пайка.

После нескольких месяцев переподготовки девушки эти разлетаются по самым глухим углам России (конечно, против их собственной воли) «сеять разумное, доброе, вечное»...

Учитель в старой России был прежде всего педагогом, на советском преподавателе лежит не меньше административных, чем преподавательских функций. Организовать библиотеку, организовать ячейку безбожника, организовать такую-то комиссию, и все это организовать часто предписывается 16-19-летней девчонке, только что окончившей среднее учебное заведение или добавочные курсы по переподготовке, не привыкшей ни преподавать, ни организовывать что бы то ни было, ни даже думать о чем-нибудь, кроме завтрашнего экзамена, встречи с красивым политруком, курсантского пайка.

Яркой представительницей этого типа девушек была Клавдия, о которой хочу я здесь рассказать.

Способная, быстро усваивавшая лекции и учебники, притом абсолютно не вникавшая в их сущность, — она отлично сдавала экзамены и преподаватели были ею довольны. Ей были одинаково непонятны тугие на знание подружки, долго зубрившие и боявшиеся экзаменов, и другие курсантки (немногие, впрочем), учившиеся не за страх, а за совесть. К преподавателям и преподаваемому у Клавдии было вполне определенное отношение: с глаз долой — из сердца вон.

Окончила курсы хорошо и была тут же в «губернии» оставлена учительницей. Она совсем не умела преподавать. То во время урока сама фыркала, распалившись на какую-нибудь проделку учеников, то, раздраженная и усталая от скучного ей же самой предмета, применяла совсем ненужные строгости по отношению к детям.

Дело усложнялось еще тем, что многие из учеников были всего на год моложе, а то и одних лет со своей учительницей. От этого даже она, развязная, вначале смущалась. Великовозрастные ученики быстро заметили это, истолковали по-своему, стали пересмеиваться и перемигиваться. Она в свою очередь тоже заметила, смущалась еще больше

и часто, делая замечание какому-нибудь рослому наглова-тому парню, впадала в совсем неуместный, игривый топ.

Потом по школе живо распространился толк о Клавди-ных вечерних похождениях за пределами школы, — рас-пространился к необузданной радости всех без исключе-ния и сладкой ревности некоторых отдельных старших уче-ников.

Собственно, вначале Клавдия позволяла себе не боль-ше, чем почти все учительницы в городе. Большинство из них заводили себе друзей (именно — не друга, а — друзей) с тем, чтобы один справил платье, другой — ботинки, тре-тий — водил по кинематографам и т. д. Если между дру-зьями возникали инциденты на почве ревности, то это лишь вносило разнообразие и романтику в скучную и скудную жизнь губернской учительницы. Но Клавдия, пожалуй, бы-ла недостаточно осторожна; она, например, неоднократно по вечерам приводила приятелей к себе в казенную комнату при школе и оставляла у себя ночевать. Начальству стало об этом известно.

Девушка была уволена после того, как ее застали на ран-деву, — на «решительном randevу», как выражалась по-койная Полина Карповна из гончаровского «Обрыва», — с одним из старших учеников школы.

Есть и другой тип учительницы — скромной, робкой, забитой девушки, дрожащей перед начальством, дрожа-щей перед старшими учениками, дрожащей за свое место и за свое учительское жалованье. К каждому уроку она дол-го и толково готовится, преподает голосом тихим, застен-чивым и всегда скороговоркой, невнятно выговаривая сло-ва, точно стремясь забыть все то, что нужно рассказать уче-никам и что она вчера ночью с трудом втемяшила в свою собственную тугую и туповатую головку. При каждом пе-решептыванье, шуме в классе она сильно смущается, крас-неет пятнами и нервно вскрикивает:

— Да тише же, дети! Ведь я ж так не могу!

А ученики плохо понимают ее бестолковое нервное из-ложение, скупают и начинают шалить.

Еще один тип — тип «сознательной» учительницы. Конечно, коммунистка или, по крайней мере — комсомолка. Знает назубок политграмоту, «азбуку коммунизма» и «Библию для верующих и неверующих» Губбельмана-Ярославского. Физику, историю, географию и прочие предметы, проходившиеся на курсах, тоже знает, хотя и хуже. Стремительно передает свои коммунистические знания, бережно, как скрижали, ученикам и целые уроки твердит, захлебываясь:

— У тебя опять, Варя, крест! И как тебе не стыдно?! Это все буржуазия обманывала народ. Христа никогда не было, а крест просто — свастика.

— Вы спрашиваете что такое свастика, дети?!

— А это я вам в другой раз расскажу.

— Итак, квадрат это...

— Сережа, ты опять отвлекаешься! Какой же из тебя выйдет сознательный пролетарий! Товарищ Ленин...

— Дети, слушайте сегодня хорошо. В награду я после окончания занятий почитаю вам про дедушку Ильича...

— Только не про дедушку Ильича! — жалобно просят малыши. — Лучше что-нибудь про разбойников!

И со слезами обиды звенит голос учительницы:

— Разбойники — это несознательный элемент. Так сказать, деклассированный люмпен-пролетариат. А наш великий вождь...

Более опытные и искушены в деле преподавания старые учителя с довоенным стажем, которых так много в современной советской школе. Но и они сильно выбиты из колеи. Звуковой... комплексный... и прочие... — чехарда методов! Срочные переподготовки и экзамены по политграмоте. Ряд новых предметов. Старенькие учительницы из епархиалок со злобным любопытством и ехидным благоговением склоняются над Емельяном, готовясь к антирелигиозной деятельности в пределах школы.

— Ан-Семенна! Бог есть или нет? — спрашивает девятилетний скептик.

Учительница смущается. Ее отец был священник. Дед тоже. Брат и сейчас бы священствовал, кабы не очутился в

Соловках. Но ей совсем не хочется лишиться своего места учительницы. Глаза ее делаются стеклянными, непроницаемыми и она отвечает:

— Как наука недавно доказала — Бога нет и не было. А это — мир и вообще — это от науки... А потому, дети, будем уважать науку и вернемся к нашему занятию ею. Итак, четыре правила арифметики...

— А почему же вы, Ан-Семенна, раньше, при царе, молитвам обучали? Так мне папа сказывал. Он тогда у вас учился.

— А видите ли, дети... Тогда наука еще не успела доказать, что Бога нет. Это она за последние годы, с победой пролетариата, сильно вперед пошла...

Учительницы в советских школах заняты почти целыми днями: уроки, экскурсии, совместные с учениками собрания, подготовки к спектаклям, всевозможные кружки.

А дома учительницу ожидает печка, которую нужно растопить, и обед, который надлежит состряпать.

Однажды, забежав к своей знакомой многодетной вдове-учительнице, я застала ее в слезах.

Оказывается, кто-то сказал ей, что можно в щи вместо дорогой капусты класть арбузные корки. Щи из арбузных корок чем-то пахли, корки не дали никакого навара, пришлось щи вылить. Придется взять для детей вместо удавшегося обеда — молока и ситного. А на это уйдут последние деньги. До тридцатого же — еще три дня.

Это было не в двадцатом, не в двадцать первом, а в прошлом году.

Письмо восемнадцатое.

(НОЧЛЕГ В ДЕРЕВНЕ. — ВОЛОГОДСК. ГУБ.)

Темнота бархатно прикасается к лицу, изредка щурится огнями костров, а чаще заволакивает все сплошь стеной густой и плотной.

Лошади все-таки находят дорогу.

— Эй, эй, — Черноухий... — покрикивает возница на правого коня. И, невидимый во тьме, Черноухий храпит в ответ и чуть прибавляет ходу.

По мягкой земле, почти без тряски, плывет в теплую пустоту телега. На гряде душистого мягкого сена хорошо полудремать, просыпаясь от редких толчков.

Поздно ночью приезжаем в волость. Долго разыскиваем председателя. — Оказывается, что старый проворовался, а недавно назначенный новый — Нефедычев, из коммунистов, — никогда не ночует дома. Стою в недоумении у полуоткрытых дверей председательской избы ...

Из-за двери в полосу света выкатывается маленький черноволосый мальчонка с заспанным лицом:

— Товарш... товарш... Хошь, — где Панька, скажу?

— Какой Панька?

— Знаю, какой... Нефедычев...

— Скажи... — Молодец будешь...

— А полтинник дашь?

— Что-то больно много.

— Ничего — не много... Вот кооперативный товарш приезжал — рубль дал. Вот те хрест... Ты не думай... себе дороже. В харю заехать может, а то и зашибет... Нефедычев-то у нас боевой.

Деловито глядят глаза мальчонки. Я склоняюсь на доводы юного взяточника.

— Ну — ладно. Дам, коли так.

Новенький полтинник опускается в цепкие руки мальчонки и в обмен мы получаем откровение:

— У Лаврихи — Панька, у учительницы. Да вы не найдёте-ко... Ужотко я за полтинник твой сам схожу.

Сквозь гулкий собачий брех и редкое пение петухов, мы движемся вдоль темных рядов крестьянских изб за юным проводником...

— Тута мостки... Легче, товарш. В позапрошлом году завохозовский боров утоп. Потом мясо утопное заведующий по пятаку за фунт продавал... Шагай дюже... — раздаётся голосок мальчугана.

После долгого шагания в темноте останавливаемся у длинного одноэтажного здания.

В одном окне виднеется слабый свет.

— Ступай свыгчо, товарш. Про меня, что привел — не рассказывай... — настороженная речь мальчугана обрывается и он сам исчезает.

Минут десять мы с возницей стучим и в дверь и в окно.

— Кто там? — Мать вашу... — мать — мать — мать — мать!
— Вот сейчас я — наганом, как перепелок!..

Крепкий рабоче-крестьянский мат повисает в воздухе.

— Ты, Нефедычев, — полегче... Тут товарищ-барышня из городу, — инструкторша... — предостерегающе гудит возница.

Предостережение действует: мат стихает и через минуту в дверь осторожно выглядывает лохматый взъерошенный человек.

— Уж вы простите, товарищ, — не знал-с... — Народу тут много всякого шляется. Сейчас открою... Только накинь вон, а то — раздемшись...

Через несколько минут я сижу в комнате у Нефедычева, то есть не у него, собственно, а у учительницы, где он ночует, должно быть, на правах фактического мужа.

Нефедычев лохмат, пьян, — держится одновременно и боязливо, и вызывающе. Уверяет в своей безбожии... Рассказывает, что забил попа. А между тем украдкой, когда я отвернулась, — крестится мельком на маленькую в углу иконку.

В комнате бедно. Чувствуется нужда.

Укладывая меня спать, учительница — маленькая, замученная — рассказывает, что живет с Нефедычевым по принуждению, — иначе с места сгонит... Говорит осторожно (кабы не услышал). С улицы доносится по-прежнему задорный мат Нефедычева, который ругает возницу...

Усталая с дороги, под этот мат и боязливое пришепывание учительницы я засыпаю...

Письмо девятнадцатое.

(В ГОСТЯХ У ЧЕКИСТА. — ГЖАТСК.)

Нас было четверо в маленькой, совсем-совсем крошечной комнатухе толстого добродушного чекиста, гостеприимного хозяина и милого, хотя и скучноватого собеседника.

Жена его — худенькая смугляночка с Украины, похожая на гимназисточку выпускного класса, с глазами черными и быстрыми, как две щебечущие ласточки, гладила на длинной узкой доске, положенной через всю комнату между двумя столами, утюгом что-то батистовое, веселое и кокетливое, что собиралась надеть.

Одновременно она невинно и совсем по-детски кокетничала со вторым чекистом, приятелем мужа. Обоих чекистов звали Левой. Когда она окликала одного, отзывались оба; это служило поводом к нескончаемым шуткам, к ребячливому веселью всех троих, причем женщина смеялась неудержимым расшалившимся смехом.

— Ну, хорошо, — пусть он будет Лева, а я буду Левко! — наконец сказал второй чекист.

— Остыл уже... — говорит жена чекиста, дотронувшись до утюга быстро послуненным пальцем. — Лева, — окликает она повелительно. — Там у соседки на плите у меня еще один греется. Сходи, голубчик, принеси!

Он идет, но уже в самых дверях его догоняет второй Лева.

— Вы куда? Назад! Я сказала «Лева», а не «Левко», — смеясь, кричит вдогонку женщина, но приятели уже возвращаются, с преувеличенным комическим усердием неся вдвоем один утюжок.

Муж смотрит на жену ровными любящими глазами. И как-то видно в эту минуту, что они очень любят друг друга, очень довольны и очень счастливы.

А другой тоже смотрит на нее пристально и даже мне, совсем посторонней, становится неловко и совестно от этого взгляда, точно я присутствую при том, как он ласкает конечной лаской эту женщину (как я потом заметила, такой взгляд у него был всегда, когда бывал обращен на молодых женщин или девушек). И казалось странным, как это муж позволяет при нем так смотреть на жену. Но ни он, ни жена ничего не замечают. Они уверены в своем счастье и всякого готовы обласкать.

— Скажите, как давно вы служите в чеке? — прорывается у меня.

— Теперь уж не чека — гепеу, — поправляет он. — Да уже порядочно служу.

— И нравится вам эта работа?

— Очень даже. Вначале я даже неохотно на нее шел. А теперь так втянулся, — он пускает колечко дыма.

— А мне так надоело! — зевает «Левко», продолжая смотреть в упор, как бы прожигая платье, на тело женщины.

— И главное, — как мне везло... — говорит муж. — Вот уж сколько лет служу, а ни разу не приходилось никого расстреливать. Когда шел я на службу в чека, я вот этого-то больше всего боялся.

— И ни разу никого не расстреливал? — переспрашивает жена. И кажется дико: неужели она за три года впервые задает ему этот вопрос!

— Ни разу, — радостно отвечает он и чувствует, что это правда. Сама судьба оберегала его природное добродушие. Настоящими чекистами, жестокими, стойкими бывают совсем другие. Их два типа: беспринципный циник, щеголь и ухажер, служащий ради формы и власти, всегда почему-то завидующий на баб. Или же — идейный до аскетизма коммунист, идущий на службу в чеку из какой-то жажды психического самоистязания.

Этот же славный и немного пошловатый человечек, полунинтеллигент — идеен в меру и далек от всяких самоковыряний. И пошел он в чеку без всякого вызова. В старое время в охранку не пошел бы. Пошел только потому, что

таково настроение окружающей среды: служба, де, в чеке не только не позорное, но нужное и почтенное ремесло... До самостоятельного мнения такие, как он, еще не доходят. Да если бы на деле случилось ему кого-нибудь расстреливать, то просто инстинктивная, нечаянная человечность содрогнулась бы в нем. Он, вероятно, выполнил бы все же приказ, а через два дня (колебаний и размышлений) подал бы бумажку об отставке. И пока не получил бы ответ, добросовестно продолжал бы служить.

— А я так вот расстреливал, — тихо и раздумчиво говорит «Левко». И на один момент — не узнать этого развязного, совсем пустого изнутри молодчика. — И никто об этом не знает. И даже жена моя не знает. Ни один человек.

— А давно вы женаты?

— Семь лет.

— И хорошо с женой живете?

— Ничего. Только очень она ревнива, слишком. А у меня одна беда: не могу никак скрыть, если мне какая-нибудь понравится. Я только взгляну, а уж жена по этому взгляду одному только увидела.

«Да уж, тебе, голубчик, не скрыть», — думаю я про себя.

А он уже с веселым смехом рассказывает о любовных своих похождениях, о сценах, которые устраивает его жена, и глаза, в которых на один момент блеснула глубокая, печальная и мудрая в тоске своей мысль, сейчас опять уже не выражают ничего, кроме страстной похоти.

Неужели бывают существа, которым нужно совершить убийство для того, что хотя бы на момент стать людьми?

Письмо двадцатое.

(РЫНОЧНЫЙ КОМИТЕТ. — САМАРА.)

В рыночном комитете волнение: сегодня идут торги на места. На целый год раздаются сегодня места...

— Да уступи ж ты, сволочь бесстыжая!.. Мы на этом месте уж седьмой год палатку имеем!..

— От сволочи слышу... — раздается поспешный голос. И он же через минуту раздумья прибавляет: — Ну и что ж, что — семь лет? А у меня вот сын — инвалид гражданской!..

— Ой, набьют они цену!.. Так что после уж не приступить будет... Ни себе, ни другим!.. — вздыхает кто-то в сторонке. — Оставили бы за каждым его место, которым он в прошлом году владел, и — ладно... Чего уж там — торги!...

А пока что на всех лицах — азарт, страшное волнение и непримиримая злоба... Та злоба, во время которой высказывают все то, что дотоле находили благоразумным замалчивать, о чем обычно не говорят из вежливости, приличия, жалости, осторожности...

— Ты чего зря цену набиваешь, паршивая?! Все равно ведь отстанешь — кишка тонка!.. За мной тебе все равно не угнаться, — это, чать, сама знаешь, что место за мной останется, чего ж ты зря лезешь, цену набиваешь?! Тебе не съестными припасами торговать, а в диспансере гнить!..

— Постой, голубушка, раз ты так, — я на тебя в санитарную. Как ты, когда на осмотр врачебный идти, куму за себя посылаешь!..

— Молчи, тварь!.. Сама — венерическая!.. Погоди с годок — нос провалится!..

А цены на места растут, растут...

— Побойся Бога, Алексей Степаныч... Мы, чать, с тобой сватья! Чем тебе прошлогоднее твое место не нравится? — Я ведь тоже уж на своем — четыре года...

Какой-то инвалид грозит, что если место не останется за ним, у него сейчас будет припадок. Угроза эта не шуточная, — весь рынок знает, что если Семена Авдеева чуть задеть или что — у него припадок тут как тут...

— Ты своего-то лучше в сторонку отведи... А то он ведь у тебя нервный... — советует матери Авдеева приятельница — ровная в общей суматохе, благоразумная старушонка.

В одном углу уже началась драка, двое мясников вцепились друг в друга... Их разнимают.

— Я тебе покажу, сукин выблюдок!.. Я тебе тесть или нет? Ты предо мной — щенок, на чьи деньги торговлю-то открыл? — Все за Татьяной приданое... А теперь, так на тестево место заришься!.. Конечно, всякому — с краю желательно... К крайнему торговцу весь покупатель сразу идет...

Тут же, увеличивая шум и азарт, толкуются из любопытства барахольщики и бабенки, торгующие с рук, к которым настоящие торги не имеют ни малейшего отношения...

— Батюшки, что-то теперь будет? — Цены-то, цены до чего довели! И еще, окаянные, набавляют! И — еще! — Неужто-то с места своего, с насиженного переходить?! — охает и причитает апоплексического сложения рыночная дама с потным красным лицом, прислушиваясь в сторонке, как торгуется муж.

Но вот она испускает крик. Муж ясной, уверенной, благостной поступью идет к жене.

— Ну, ясное дело — наша взяла, — презрительно поддергивает он плечами. — Как были мы, так и будем на нашем месте! — от бывшего волнения и азарта его только и осталось следа, что густой липкий пот, который он усердно стирает с высокого плоского лба... Жена в умилении, чуть не плача, кидается к нему на грудь... Затем отрывается от него с тем, чтобы обернуться и плюнуть вослед раздосадованной жене конкурента, идущей по направлению к выходу...

Некоторые торгуются целым семейством: муж, жена, сын. Председатель рыночного комитета с большим трудом восстанавливает относительный порядок. Многие, недовольные результатом торга, за что-то ему...

— Сволочь! — расходится по его адресу худой однорукий парень в старой красноармейской шинели, торгующий «баварским квасом». — Белогвардейская падаль!.. Ты в старое время в черной сотне был!.. Первой гильдии купец!.. И теперь в революционное время нами командовать хочешь?!.. Тебе в гепеу надо, а не председателем комитета!..

— А тебе бы давно в уголпрозыске!.. — огрызается кто-то со стороны. — «Ква-ас баварский!..» А тут же под боком краденое перетуриваешь...

Кончаются торги, как всегда: почти все остаются на прежних местах. Но ненависть, расплавленная торгом, остывает не раньше, как к новым торгам...

Письмо двадцать первое.

(СОВЕТСКАЯ МЕДИЦИНА.)

Зубная боль...

Наше поколение, закаленное войной, революцией, чехой, голодом, гражданской междоусобицей, привыкло ко многому... Но все таки — зубная боль... Нет, ей-Богу, даже для нашего многозакаленного поколения это — нечто реальное!..

Итак, у меня болели зубы...

Советская амбулатория. Очередь с восьми утра и до пяти пополудни. И очередь специфическая: у каждого болит... И каждый рассказывает, «как» у него болит.

— Так вот и тянет, так вот и тянет... — жалуется гражданин в теплом платке...

— Нет, а у меня так все ничего-ничего, а то вдруг как дернет, — верно, самый нерв!.. — сообщает худощавый служащий с перевязанной белой косынкой горошком щекой. Но вот моя очередь. Сажусь в зловещее кресло и предаю судьбу свою в руки пожилой, седоволосой, добродушно выглядящей дантистки...

— Только что перед вами здесь гражданин какой-то был. Рот у него подозрительный на сифилис... Так что мне пришлось даже после него инструмент теплой водой сполоснуть.

— А обычно вы разве... не споласкиваете? — столбенею я.

— Нужно бы по-настоящему... Да разве мы имеем время? Ну, а если уже кто-нибудь подозрительный попадает, тогда, конечно, споласкиваешь...

Я не мнительна. Но после вышеупомянутого разговора я предпочла обратиться за лечением к другому зубному врачу в той же амбулатории.

Рассказываю ей (новой дантистке, то есть) о небрежности ее предшественницы.

— А вы у кого же это лечились до меня?

Называю фамилию.

— Ха-х-а-ха... Так она, значит, вот что выдумала!.. Вы ей не верьте — она у нас в амбулатории самый добросовестный человек... Оттого ее все и любят, — видели, какая к ней всегда очередь, больше, чем к остальным... Она и плетет на себя... То-то она мне в последний раз хвасталась, что нашла отличный способ пациентов отваживать!

На этот раз, мнимая халатность, таким образом, преблагополучно оказалась мистификацией. Но бывает и иначе.

Мне вспоминается Дом Николая Чудотворца.

Психиатрическая больница... Здесь все от тюрьмы и ничего — от больницы.

Вы приходите кого-нибудь навестить... Вам уже заранее страшно — такое чувство, будто в виде особой привилегии вам еще при жизни на каких-нибудь четверть часа хотят показать преисподнюю. На цепочку чуть приоткрывается тяжелая двойная дверь:

— Кто там?

— Мне на женское... на второе...

Дверь открывается совсем, и, пропустив меня, тотчас же закрывается за мной. Вторая дверь. Иду по коридору. На несколько огромных палат, палат умалишенных — одна дежурная сиделка.

Самые разнообразные больные вместе: почти здоровые, с неуловимой навязчивой идеей, и — никого не узнающие, неистовствующие в припадке...

Деление тут только одно (скорее полицейского, чем психиатрического характера) — на тихих и буйных...

Тем не менее, лишь только вы приближаетесь к «тихому» отделению, и до вас доносятся дикие выкрики, звуки близкой драки, визг больных, таскающих друг друга за волосы...

Перевод на «буйное» отделение, в сущности, является лишь наказанием, рассматривается как своеобразный карцер. Разносят обед. У каждой больной жестяная кружка и судок солдатского образца, туда ей наливают и перекладывают обед. Большинство психически больных жадны на еду.

Каждая порывается получить первой...

— Ты куда лезешь со своим заразным носом?!.. — осаживает сиделка сухонькую старушонку с провалившимся носом. — Смотри, — на «буйное» попадешь!..

Некоторые больные безучастно остаются сидеть в стоне: среди больных редки случаи объявления голодовки, но всегда в одиночку, каждая сама за себя...

Некоторые отказываются от пищи по другим причинам...

— Мне ничего не надо... Ничего мне не надо... На небе я. Преставилась. Сажу на ступеньках престола Божьего и слушаю пение херувимское... — с умиротворенным видом, ласковым ровным голосом бормочет высокая опрятная старуха...

Вдруг отчаянный визг: по коридору из соседней палаты с безумным радостным криком мчится под гиканье сиделки совершенно голая девушка лет семнадцати... Ворвавшись в палату, начинает, как вакханка, кружиться в танце... Эротическое помешательство... Сиделка хватается за нее, зовет на помощь, — больную, отчаянно сопротивляющуюся, уносят, валят на кровать, связывают...

Женщина-врач неспешной, неостанавливающейся походкой обходит ряды кроватей.

— Покажите язык... Гм-м... — и переходит к следующей.

За врачом — сиделка. Она разносит бром. Всему отделению в одной дозе. Рюмка брома — у больных пропадает память, появляется апатия, безучастность; зато они становятся «спокойнее»... В палате бром — из одной рюмочки, рюмочку даже не ополаскивают...

Зачем церемониться с душевнобольными?

Жаловаться им некому, а если и пожалуются, то кто поверит показаниям душевнобольного?.. Всегда можно будет сослаться на «бред больного воображения».

Письмо двадцать второе.

(ДЕТИ И ВНУКИ. — КЕМЬ.)

В кемском Доме-Коммуне было неуютно и даже нежилось, хотя там все время жили постоянные жильцы, — как всегда неуютно бывает в богоугодных заведениях и домах-коммунах...

Стены по-советски — голые, мебель только самая необходимая: длинные ряды «сиротских» (такие бывали прежде в приютах и казармах) кроватей с тоненькими, дешевыми, темно-коричневыми одеяльцами, в столовой — обеденный стол, и больше — ничего... Платяные шкафы, например, вообще не приняты в советских общежитиях...

В обеде некоторое разнообразие: чередуются через день, один день — щи и жареная картошка, другой — суп с лапшой и пшенная каша...

Члены дома-коммуны исключительно коммунисты и комсомольцы. Мелкие провинциальные коммунисты, несчастнейшие из несчастных, не прорвавшиеся к коммунистическим привилегиям, но уже зашнурованные в партдисциплину...

Смысл всех их рассуждений, поступков, выражений лиц — один: «при нашем стаже не должно сметь свое суждение иметь.» — И они добросовестно не имеют своего суждения.

Инструкция из центра — не сочувствовать Коллонтай и ее взглядам на половой вопрос, — и весь комсомол, все провинциальные партийцы на время кампании проникаются строжайшей половой моралью...

Троцкого травят в центре, как вождя оппозиции, и со всех клубных арен сопливые комсомольцы распевают куплеты, вроде следующего:

— «Леве Троцкому — совет
Помнить ленинский завет,

Не бузить в коммуне зря
И не трогать Октября...»

Удивительно высохшая идеологически комсомольская молодежь в России...

Комсомольцы живы и свежи в спорте, в спектаклях и даже в технической учебе; они хорошо и с усердием изучают физику, повышают квалификацию, интересуются радио, сочувствуют Добролёту...

Но ни одной оригинальной мысли, ни одного смелого, самостоятельного суждения!.. Старые партийцы (я сейчас говорю об идейных) — идеалисты от материализма... Молодежь — здоровый, животный материал, не мыслью, а организмом усвоивший мимику идеологии.

...Самая хорошенькая из всех обитательниц дома-коммуны — пишмашинистка местного отделения милиции — Леля... Гибкая, упругая, красивая, как хорошо налаженное спортивное выступление... Красотой здоровья молодой телесности... И, конечно, ей нравится самый здоровый, самый крепкий самец — худощавый, мускулистый спортсмен, руководитель и инструктор пионерского звона...

Ему, разумеется, тоже нравится Леля...

И они играют во все свободные часы, именно — играют, а не флиртуют... И если молодому телу свойственно стремиться к касаниям и прикосновениям, если обычно молодежь ищет этих касаний в танце, то эти два тела соприкасаются в борьбе... Они целыми днями борются...

— Сеничка, милый, давай жить с тобой в дружбе!.. Не будем больше драться!.. — вкрадчивым голосом, с кошачьим жестом, говорит нараспев Леля, а сама выглядывает, как бы ловчее кинуться на противника...

И вот уж они опять схватились, и смеются, заливаются...

Признаться, меня саму тогда захватила эта красивая в своей первобытности, непосредственной животности (так, верно, играли еще Адам и Ева до грехопадения) игра... И я долго любовалась на эту борьбу...

Но ведь не всю жизнь будут они бороться... А ведь они ни разу не говорили друг с другом серьезно...

Что знает Леля о духовном мире своего инструктора?

Что он — коммунист. Больше ничего.

Что знает инструктор о Лелиной идеологии?

Что она — комсомолка. Ничего больше.

Остальное ни ей, ни ему не интересно.

Это — молодая Кемь, коммунистическая...

А тут же рядом — другая, древняя, преддревняя...

Живут старик со старухой у самого Белого моря... Ну, не совсем у моря, а так — с полверсты будет...

Живут, жуют шанежки, хворают, поправляются, кряхтят...

Я сняла у них комнату... Может быть, это — консерватизм, но мне у них показалось приветнее и даже роднее, чем в доме-коммуне...

— Ты, доченька, эту кружку не бери... — говорит мне старуха. — Эта кружка — моя... Ты вон лучше дедкину возьми...

— А не все ли равно? — изумляюсь я. Бабка смущенно молчит. За нее отвечает дедка:

— Она ведь у меня старообрядка... Так у них религия не позволяет...

Я изумлена еще больше:

— Как же вы, бабушка, коли вы старообрядческого закона, за православного замуж шли?..

— Я, милая, когда замуж шла, еще старообрядкой не была... Это я только четвертый год как старообрядчество приняла...

— Это она, — с усмешкой перебивает дед, — когда больна была... Уж думала — помирает... Тут соседки ее и смутили:

— Переходи-де к нам, в старообрядческую церковь, Бог тебе здоровья пошлет...

— Я уж теперь и сама жалею... Трудной он, закон старообрядческой... А только я, чать, — теперь уж грех опять от старой веры отойти?.. — тревожно, точно спрашивает она.

— А я так думаю... — говорит дед. — Это все одно: что наша церковь, что — старая... Бог у всех один...

Мне так лучше всего баптисты нравятся... Вот у тех, впрямь, все — по-евангельскому, по Христову учению... Так-то вот часто сидишь и думаешь:

— Бог-то вот один у всех, а откуда ж это столько религий, да вер пошло...

Когда-то, во времена оные, старшее поколение жило по старине, как живется, жизнью от мира сего, а молодежь все чего-то искала...

Теперь — наоборот.

Времена меняются...

Письмо двадцать третье.

(«ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ». — БУЗУЛУК.)

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и всякие вообще интернационалы. А пока что есть в самой Эсесесерии два народа, не на живот, а на смерть ненавидящие друг друга, народа таких маленьких, что далее щедрая на нацменьшинские культуры советская власть не нашла нужным предоставить им автономию, — народы эти: пензенские и самарские. Пензенские ненавидят самарских. Самарские ненавидят пензенских.

За что?

Был голод в Поволжье. Голодали самарские. Разбредались с голодухи в соседние губернии.

Лишний рот нигде не в радость. Не очень-то любезно принимали их соседи, особенно — пензенцы.

Потихоньку, полегоньку оправилась Самарская от голода. И даже стала как никак — культурный -центр.

Недаром писательница Мариэтта Шагинян писала, что все мы — граждане советской республики — живем в маленьких Веймарах. Да, велика Россия (хоть и не так уж теперь обильна), до Москвы далеко, да и дорого, а пока что во имя просвещения, а еще больше от непереносной провинциальной скуки, насаждают губкомы и губполитпросветы, где только могут, маленькие культурные центры.

Чтобы каждому губкому быть маленьким князьком-меченатом.

Так вот, стала Самарская идти в гору. А Пензенская чего-то захирела.

В Совроссии везде безработица. Так и в Пензенской. И в Самарской тоже безработица. Да все — не так. Или, может, это пензенским так с жадных глаз показалось.

И потянулись они, как дикие гуси осенью, в Самарскую.

А самарские припомнили им бывшее гостеприимство. Вот и пошла вражда.

Город Бузулук — Самарской губернии.

Сидит в Бузулуке тетенька Феодора, сидит у окошка в маленьком домике. В горнице у нее чистота, благолепие; пол сейчас только вымыт, с полгода как покрашен, половички полосатенькие, многоцветные по всему полу разостланы, дух в горнице легкий и пахнет все цветами, пирогами да лепешками. Одним словом, мир да покой, герань да фуксии.

— Подайте, люди добрые, бедному семейству на пропитание! Приехали издалека, домой ехать — на дорогу нет. Работы тоже нет... — тянет нудный тягучий голос под окном.

Встрепенулась на голос тетка Феодора, высунулась в окно, — с работой она со своей со всей справилась, сидеть ей, дожидаясь мужа, скучно, и она даже рада голосу под окном, как некоему эпизоду.

Сразу узнала она поговору, что голос пензенский, и деланно-участливо спрашивает:

— Да уж, времена теперь! Ты откудова будешь, значит, милая?

— Пензенские мы...

— А, пензенские! — все лицо тетки Феодоры расплывается в сладострастно-злорадную улыбку. — Пензенские!.. А помнишь ли ты, милая, как в голодный год мы к вам ездили, за мерзлую картошку вам в ноги кланялись? У меня платье шелковое все в кружевах было. Только, бывало, на Пасху к заутрени да на Троицу его и надевала. Так я вашим пензенским его за хлеб с мякиной отдала! Вам, пензенским, не то, что подавать, — гнать вас отсюда за тридевять губерний надобно! У меня брошь старинная серебряная...

— А вы, самарские... — не выдерживает голос за окном профессионального смирения (силен, силен пензенский национализм), — еще похуже нас будете! Мы-то хоть с мякиной, а давали вам хлеб.

С часок длится спор. Кончается он полюбовно: самарско-бузулукская тетка Феодора просовывает пензенской безработной Анисье в окно большую горбушку хлеба.

— Да уж Бог с тобой! Бери уж. А только Бог вас, пензенских, не так еще накажет!

...Лошадь, сытая, выкормленная и опрятная, бежала весело и уверенно. А бородатый ясноглазый извозчик оглядывал ее с любовью и удовольствием.

— Наше дело маленькое, — с самодовольным смирением рассуждал извозчик. — Мы, конечно, люди темные. А только, как по нашему разумению, так без религиозного дурмана, — вы вот, большевики, поучаете, что это все дурман, — никак нельзя. Дурман-то оно — дурман! Ан нет... Вы вон посмотрите, до чего народ испортился. Грабеж, убийство, воровство. Девиц всех перепортили. Да и сами от себя тоже не соблюдают. Опять же работать не хотят. Вон их сколько побираются! Все хотят на даровщинку. Особенно вот пензенские. Много их понаехало!

Чуя, что сейчас полетится длинное повествование о пензенских злодеяниях, перебиваю извозчика:

— Так тоже нельзя сказать! Многие побираются от нужды. Во всей стране безработица.

Ну, а нам, так тем более нельзя об чужих думать! Каждый об себе должен... Вот я, к примеру, о себе скажу, — глаза старика снова загораются тем самодовольным, любовным к хозяйству сиянием, которое горело в них, когда он смотрел на лошадь. — Я после отца малолетним остался. С тринадцати годков за главного хозяина. Хвалиться не стану, а хозяйство примерное нажил. Уж что-что, а своего я не упущу. Две коровы, подтелок. Трое лошадей. Дом большой — во всем селе первый, получше вика здание будет. Только вот товарищи налогами больно обкладывают. Да уж как-нибудь. А об чужих делах тревожиться нам расчету нет. Всякому помогать — для хозяйства убыток будет. А человек должен жить для хозяйства. Ты не смотри, что ты сегодня сыт, обут — ты обязан на завтра припасать. А коль на завтра есть, так припасай на послезавтра... Так ведь я говорю, гражданин?

— Не знаю. Вы вон религию признаете и безбожниками недовольны. А знаете ли вы, как Христос учил: птицы небесные не сеют, не жнут, и в житницы не собирают...

— Так. А я, значит, вам, гражданочка, вот на это что скажу. Вы говорите, птицы небесные. А где они были — птицы небесные, когда здесь в Бузулуке голод был? ни одной не видать было! Все с голоду пооколели. Они — птицы небесные — потому не сеют, не жнут, что под нашими окнами да с наших хлебов питаются. Мы — люди, мужики, значит, на них работаем. Вот как они — птицы небесные!

Прав он или не прав?

Не знаю...

(СЛУЧАЙ В ФАБКОМЕ. — ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ.)

Председатель фабкома нервничал.

— Русским языком говорю — разойдись!.. Чего толчешься, как бараны?!. Вот придет охрана труда — разберем... А галдеть тут нечего!...

Но толпа не расходилась. Угрожающе были лица. Напруженные скулы затаивали злобу. Кулаки сжимались, голоса гудели...

— Ишь, черт! Директоров подхалим! — тонко и злобно уколол бабий голос. — Тебе бы в лакеях прислуживать!... А не рабочих защищать!..

— Заелся на легких хлебах!... Вот от своего брата-рабочего и морду воротит... — поддержал ее другой голос. Толпа снова заволновалась и подступила к смущенному председателю.

Пожилой инвалид Карпов, человек с култышкой вместо левой руки, оттяпанной машиной, бунтовал всех. Все знали, что у него были припадки. Но часто под прикрытием припадков он напивался мертвецки, в таком виде являлся на работу, наполовину симулировал, наполовину всерьез — закатывал припадок, и получал таким образом законный прогул — увольнение по болезни. Администрации в последнее время это надоедало. Тем более, что у Карпова нашлись менее удачные подражатели... И вот сегодня наступил кризис. Фельдшер, подговоренный старшим мастером, осмотрел Карпова после припадка и заявил решительно:

— У тебя, братец, «рыковка», а не припадок! Увольнения не дам!..

Не стерпел Карпов такой обиды и — хоть разило от него, действительно, спиртом вовсю — ткнул култышкой своей фельдшера в брюхо и пристукнул по шее еще правой — здоровой, для верности...

Взвыл фельдшер благим матом, закричал служащих и милицию. А Карпов собрал толпу друзей и пошел с ними в

фабком скандалить. И вот теперь испуганный председатель, забившись в угол, с трудом сдерживал буйное наступление Карпова и его друзей.

— Это что ж такое?! — размахивал впереди всех культяшкой Карпов. — Мастер, значит, будет натравлять фершала на меня, на рабочего человека, можно сказать — инвалида?!.. А я, значить, терпи?! Как он может мне сказать, что я пьян?!

— Он, может, пьян, сукин сын! А мне, рабоче-крестьянскому инвалиду, говорит!... Что он меня, нюхал, что ли? Его дело лечить, а не брехать. И не оскорбление делать рабочей личности человека! А что я — припадочный, все знают, даже доктор — Алексей Трофимович говорит: «У тебя, Карпов, настоящие правильные припадки, а не имуляция какая...» — А фершал ваш зачем же брешет, коли даже ваш доктор признает?.. Я за такое оскорбление убить вправе и не отвечу!... Как есть я инвалид труда...

— Правильно говорит Карпов! Он есть припадочный, всегда освобождение получал... — поддержали речь Карпова его друзья...

Но вдруг толпа смолкла...

На лице загнанного предфабкома — зарево радости: в дверях показалась осанистая фигура директора.

— Товарищ директор!.. — рявкнул было Карпов и... осекся... Рядом с директором виднелась фуражка милиционера...

Я вошла вместе с директором и была невольной свидетельницей отвратительной сцены:

Милиционер тащил Карпова за собой, инвалид упирался и вдруг упал на пол и забился уже в настоящем, а не наигранном припадке... Пена на губах, прикушенный язык, харканье и приглушенное дыхание... Несомненный эпилептик!—

Я помогла ему, как умела. Но все мои настояния позвать врача оказались тщетными.

— Надоед! — махнул рукой директор. И еще не очнувшегося от припадка, бывшего инвалида потащили с помощью милиционера куда-то, не то в больницу, не то в ка-

талажку. И те же самые приятели, товарищи-рабочие, которые только что орали вместе с ним в фабкоме, теперь помогали милиционеру его тащить...

Я смотрела беспомощно и с грустью думала, что так обращаются с несомненно больным рабочим в стране, где вся власть, на словах, принадлежит трудящимся... И мне показалось, что со стен фабкома, сквозь портреты вождей, сквозь лживые лозунги лживых плакатов горько ухмыльнулось похожее на перекошенное лицо припадочного инвалида — подлинное лицо человеческого страдания...

(ПОСЛЕ ГУДКА. — ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.)

Народ валил из фабричных ворот, точно густой дым из заводской трубы... И, точно дым, дальше постепенно рассеивался, разжижался.. Из самых ворот народ выбегал и бежал потом еще некоторое время: казалось, каждый боялся отстать от остальной толпы... Большими шагами, исподволь бежали мужики... Рядом с ними семенили бабы мелкими женскими шажками нескладных ног, обутых в тяжелую мужскую обувь...

Первыми стали отставать барышни; потихоньку замедляли шаг или шли под руку целой колонкой, говоря о своем, девичьем и важном...

Возле иных таких колонн увивались и ребята, стараясь подслушать девичьи секреты и перебивая шутками их беседы... Немного подале от ворот стали отставать и мужики один за другим, точно смекнув, наконец, что спешить, собственно говоря, некуда... Заговаривали друг с другом о делах заводских и семейных, а иной раз даже сворачивали по двое — по трое в пивную... И только бабы по инерции все еще продолжали бежать бестолковой рысцой, лишь замедляя понемногу бег... И поредевшая толпа из их белых косынок похожа была на рассеявшееся, побелевшее в вышине облако фабричного дыма...

Еще дальше рабочие и работницы, то один, то другая, исчезают в воротах той или иной избенки — вот и дом... И тут сразу — к умывальнику. Последний — у кого в сенях, у кого — во дворе, под открытым небом... Умываются истоиво, хоть работа на текстильной и чистая, — точно хотят с фабричной пылью смыть и нудь рабочего дня... От умывальника отходят праздничные, особенно — мужчины... Женщины, у тех иной раз даже и умыться-то времени нет, — иная бабенка как есть, разуваясь на бегу, бросается разводить очажок мелкими щепками, чтоб щи разогреть...

— И охота тебе... — ворчит муж. — Сидела бы дома, стряпала бы, колготилась... По домашности бы... А то охота

тсбе, право, и на фабрике, и дома!.. Нешто я один тебя не прокормлю? Или семейство у нас очень чересчур большое?— Ты да я, да кот — Василий... Хозяйство ты через фабрику запустила... Завела бы ты поросенка, козу... Как у людей... Вот поглядела бы ты у Трефилова Семена... В какой чистоте евона жинка все содержит...

Однако нелегко убедить женщину, вкусившую раз фабричного дыма... Приятно сознание, что сама она зарабатывает, не зависит от мужа... Веселее болтать на фабрике за работой с подружками, чем дома прибираться за свиньей в ожидании мужа. А тут еще подогревающие речи ячейки и женотдела о рабстве кухонного горшка... И потому счастливицы, не попавшие под сокращение, не поддаются ни на какие уговоры мужей... А в результате рабочий постепенно лишается домашнего очага и последней иллюзии праздничного отдыха после работы...

Гигантская фабрика-столовая... Там и дешево, и чисто и даже питательно... Но не то это, все не то... Интимности там нет... Нет иллюзии, что для него лично, именно для него — Семена Тимофеева или там Петра Алешина, а не для иного кого, — трудились чьи-то женские руки...

Рабочий человек особенно ценит домашнюю хозяйственную жену потому, что она является как бы прислугой для того, кто вынужден постоянно сам прислуживать, подчиняться... Сладко тому, кто сам работает весь век на других, сознавать, что и на него в свою очередь кто-то работает...

И не один «синеглазник» вздыхает украдкой, а то и явно, получая образцовый обед из Иваново-Вознесенской образцовой фабрики-столовой...

Фабричный гудок!.. Сколько «пролетарских» поэтов воспели тебя!.. Сколько пролетарствующих литераторов изъяснялись в пламенной любви к тебе от имени всего пролетариата... И на этот раз надо отдать справедливость пролетарским поэтам, они не солгали... Много, очень много говорит гудок рабочему сердцу... Й любят рабочие свой гудок, взаправду любят...

Ибо он, фабрично-заводской гудок, в течение долгой трудовой их жизни ежедневно, взвизгивая и заливаясь лаем, — извещает их, усталых и изнывающих от работы, о том, что наконец-то работа кончилась...

А то, что тот же гудок утром призывает их на работу, забывают и прощают незлобивые рабочие сердца.

(ХОЗЯЙКА. — ЗЛАТОУСТ.)

Златоуст — очень красивый городок. Иностранцы непременно проложили бы здесь гладенькие дорожки, устроили бы ресторанчики по склонам и на вершинах Уральских гор, заставили бы музыку играть фокстрот и шимми, — все это, чтобы дать возможность публике лучше насладиться этим «нетронутым» уголком дикой природы... Но пока, так как в Златоусте нет иностранцев, никому из обитателей этого городка и в голову не приходит, что живет он среди нетронутой природы и что местность, среди которой он живет, — красива...

Только лицо явно заинтересованное, — извозчик — говорил мне, когда вез меня с вокзала в город:

— Я вот часто подумывал... И чего бы у нас здесь курорт не устроить... Местность у нас здесь здоровая... Округ все сосны... — Чуете, чать, — воздух какой? — Я вот в Германии в плену был... там чуть где клочок земли слободной, незастроенной, и уж на тебе — курорт... у нас тут в Златоусте сам Бог велел... Сразу бы тогда у нас здесь все оживило... Стали бы люди на поправку ездить...

Меня волновал Златоуст... Сладко журчала мысль, что это как бы ворота в Азию, что совсем недалеко, если проехать еще немного дальше по железной дороге, — будет каменный столб, а на нем надпись:

ЕВРОПА — АЗИЯ

И как-то шокировало, что в самом Златоусте (а как я потом убедилась, и за ним, в самой Сибири — также) — не было ничего специфического, азиатского, «сибирского», что ли... Те же здания Совета, тот же Исполком, те же кооперативы... И те же хлопотливо-ленивые хозяйки, зевая, прогоняющие поутру козу или телку в стадо...

Только чаще слышится ни к селу ни к городу «сибирское» слово: «однако»... И слышно, как собеседник ваш,

причмокивая, переворачивает во рту «серку»... А в остальном просто — Россия... Все равно — Европейская или Азиатская...

Квартирная хозяйка моя — полная «дама» с лицом, символизирующим исключительную, редко встречающуюся, химически-чистую глупость... Извозчик, еще когда вез меня сюда, говорил мне о ней:

— Останетесь довольны, гражданочка!.. Самая опрятная хозяйка по всему Златоусту!... Живет по-господски и везде чистота...

У меня, признаться, тогда сердце екнуло: не люблю слишком аккуратных женщин. Мне всегда казалось, что постоянно моя, подметая, выскабывая жилье, они вместе с тем сметают, смывают, соскабливают что-то единственно-ценное, нутряное со всего своего быта и с души своей... И, быть может, недаром некоторые святые давали обет не только смирения и бедности, но и внешней неряшливости и неопрятности...

Златоустская моя хозяйка оказалась и впрямь незауряд-аккуратной...

Простая, малограмотная, пригородная мещанка, вышла она года два тому назад вторым браком за советского правозащитника (по-старинному — адвоката) и когда увидела впервые мебель и всю прочую «господскую» обстановку своего мужа, — только руками развела и ахнула; да так и осталась на всю последующую жизнь потрясенная великолепием прежде мужниной, а теперь уж и ее собственной также обстановки...

В комнатах жить она не решилась и даже не всякого гостя там принимала, а переселилась вместе с девчушками (от первого брака) на кухню. А так как кухня ее таким образом стала жилой комнатой, а в комнате хозяйка непомерную чистоту любила, то и перестала в кухне стряпать...

— Чтобы дух был легкий... А также и копать от печи может на стены сесть...

И готовила она круглый год, в мороз и в дождь, и в грозу, — на керосинке, посреди двора... А чтобы кухонные полки невзначай грязной посудой не замарать, посуду дома не

мыла, а посылала девчушек мыть ее на речку.

Муж хозяйки большей частью был в разъездах и командировках, а когда приезжал он, она с робким трепетом ложилась вместе с ним на большую, всю облепленную подушками, кружевными да вышитыми под- и надодеяльчиками, — кровать в главной комнате... И слышалось в такие ночи, как хозяйка долго не спала, ворочалась с боку на бок, вздыхала.

— Ты что, Настенька? — Тебя блохи кусают, что ли?

— Что ты, что ты, Семен Сергеич! — Откуда бы у нас в доме блохам взяться?! — Христос спаси!.. Я вот только все беспокоюсь, — как я вспотевши, — так не засалить бы мне нового пододеяльничка... Он, чать, мелкими вышит-то... — и снова слышался глубокий вздох...

— Семен Сергеич у меня образованные... Начитанные... Партийные... За то и должность хорошую имеют... Хорошо зарабатывают.

Должность-то у них сурьезная... И бумаг же, бумаг они другой раз домой приносят... Видимо-невидимо бумаг... Я, бывало, все прежде этими бумагами печи растапливала... А тут Семен Сергеич не велели... Потому как раз вышло, — нашла я на столе целую пачку бумаг всяких, а она меж собой перешитая... Ну я и сунула всю сразу в печку (день-то как раз был ветреный и печка нипочем не растапливалась...) Ну, а потом, как выяснилось, бумажки те были судебные, «дело» называются, — насчет одного, которого судить должны были... Насчет, значит, свидетелей, кто из них чего говорил...

Хорошо еще, что этот самый подсудимый бежать потом задумал, тут его пулей и уложили... Стало быть, «дело» это, бумаги эти уж больше не понадобились... Такое уж, видно, мое счастье было... А только Семен Сергеич очень гневались... — рассказывала мне, бывало, хозяйка длинными вечерами, когда из экономии не зажигала лампы. И сидела при этом в невозмутимости и неподвижности жиров своих, похожая на бурятского истукана. И только с ленивым удовольствием на лице курила папирску.

— Это меня Семен Сергеич приучили... Кури — говорят... — Нонче все сознательные передовые женщины курят... — А мне и понравилось.... Тем более как они позволяют... Еще они хотели меня приучить газеты читать... А только я не стала.... И тоже они мне позволили: — «Ну не хочешь, — говорят, — так не читай...»

— А вы что, сами — в партию не собираетесь? — спрашиваю я, стараясь не улыбнуться...

— А ну их!.. — отмахивается хозяйка. — Не люблю я из женского пола, которые партийные...

Я во всем чистоту, порядок люблю... А комсомолки которые, — так смотреть противно.... Чулок пока совсем не истаскается, в пыль прямо, дотоле она его зашьет... Так же и партийные...

Нет уж... Оно так всего лучше: жена должна быть безпартийная, по домашности, значит.... А муж — коммунист, чтобы больше, значит, получал...

Вот так-то мы и живем с Семеном Сергеевичем третий год... И с первым мужем жили... Слава Богу.. Только тот урядник был.. Так по тем временам оно самое подходящее было...

(ЖЕНОТДЕЛ НА ФАБРИКЕ. БЫВШ. МОРОЗОВСКАЯ МАНУФАКТУРА.)

— Товарищи работницы!

— Кажинная, которая есть сознательная женщина, не может допустить, чтоб мужик над ней измывался!..

— От мужинского элементу не век нам страдать!.. И от горшков... Которые, значит, на погибель сознательной личности на предмет питания... Семейство и вообще...

Апосля — постирушки и всяческая приборка... И от ребяташек мыторность и нет покою...

Митрий мой, значит, с работы пришел, на морду плеснул, на кровать — бух... — Марфа! — та-щи по-ша-мать!

— А ты, идол, сам возьми! — У меня, чать, спина не казенная... — Восемь часов на работе оттяпала, — да еще с тобой, с идиолом, возжаться...

— Правильно, Марфа! — Правильно! — отозвались на речь ораторши несколько бабьих голосов сразу.

А секретарша женотдела, писавшая сбоку за столом сокращенный протокол жен-конференции фабричных делегатов, сочувственно улыбнулась...

Делегатов было человек шестьдесят. Но сидели в задних рядах они очень шумно, переговаривались, и некоторые ходили по залу и стояли в дверях... Поэтому казалось, что их больше...

Впрочем, в первых рядах слушали внимательно, шумно поддакивали, когда говорила своя делегатка, и довольно равнодушно, но вежливо молчали, когда выступала секретарша женотдела...

Вообще, эта маленькая, сухонькая коммунистка (как я узнала потом, — совсем подавно принятая кандидатка партии), латышка, но с совершенно неправдоподобным, не подходящим ей, — еврейским лицом, — не пользовалась, по-видимому, у аудитории ни успехом, ни авторитетом...

Когда она голосовала какое-то постановление или резолюцию, все, правда, вытягивали, как по команде, руки

кверху, но делали это с таким деревянным равнодушием и так безразлично, что мне даже как-то неловко становилось и за нее и за них...

Я думала, что после голосования заседание кончится... Но вышло не так: секретарша тем же тоном и темпом, точно продолжая прежнюю речь, сказала:

— А теперь нам сделает доклад приехавший из центра лектор, товарищ...

Она назвала фамилию. У стола появился курчавый, довольно полный молодой человек во френче цвета хаки. А на лицах аудитории заискрился неопределенный интерес... Почти час говорил приехавший лектор... Говорил он неплохо, но употреблял массу непонятных слов. Мелькнувший было интерес аудитории улетучился моментально и сменился утомлением и скукой... Впрочем, под конец оратору похлопали, потому ли, что он из центра, потому ли, что он, наконец, кончил, или, может быть, просто потому, что был он довольно интересный мужчина...

О чем говорил приезжий, не помню... Когда бываешь на сотнях собраний, заседаний и лекций, — все перемешивается в голове... А потом, советские речи так, в конце концов, однообразны...

Когда сухонькая коммунистка объявила собрание закрытым и начали расходиться, обратилась я к еще не успевшей уйти, сидевшей поблизости маленькой старушке:

— Ну что, — как понравилось вам собрание?

— Ох, матушка, и не говори! Уж так замучили, так замучили, — повернуться некуда!.. Жизни нет от собраниев!.. Кабы не нужда горькая, — ни за что бы не пошла б!..

— Так вас же не насильно заставляют?! Если вам неинтересно, — зачем же вы ходите? ..

— То-то и есть, что не насильно... — Насильно как можно?! — Не насильно, а за деньги...

— Как — за деньги?! — Разве вам платят?

— Знамо, — платят... Не то разве пошла б?! — Замучила жадность проклятая... — Живешь, живешь, — все человеку мало... Чем по дому что собрать, али пострепать, — вон на какое дело иду за полтинник...

— Я не понимаю, что вы говорите... Какой полтинник? Вы шутите, наверно!..

— Стара я, матушка, шутки шутить... Полтинник обыкновенный!... Конечно, мало... А только не плотют больше. Как с ними ни лайся... Вот как выберут у нас делегатку, а идти-то всем неохота, — вечерами-то или — на танцульку или — или в кино, а у какой — парень, зазноба есть... Так они ко мне — как мухи: — Уж сходи за меня, Милитриса Николавна! Ты — человек старый, все равно тебе дома сидеть... Сходи, милая, — уж за полтинник... — Я говорю: — Больно дешево... Не по-божески... За полтинник-то... Ты, мол, со своим парнем сходишь, пятишник, может, заработаешь, окромя удовольствия... А мне — полтинник... — А только они, молодые, больше не плотют, не слушают, — смеются над старухой...

Так я вот уж второй месяц хожу, — за всех, значит... Надо-ело, — смерть! — Нет тебе на старости покою... А ничего не поделаешь...

Делегатка встала и, оправив платье, неторопливо поплыла к двери...

У хозяев собрались гости... В сущности, все свои: деверь с женой, две золовки, одна — барышня, другая — разведенная вдовушка, и сестра хозяйки с мужем и двумя детьми. Да еще — Акимовна, сорокапятилетняя кумушка и сплетница, круглый год шатающаяся по гостям к знакомым и незнакомым.

На столе — вынимаемые раз в год из горок рюмки (в будни, ежели хозяин и вздумает выпить, то пьет из чайного стакана. А рюмки — это для гостей только, чтобы было все «по-интеллигентному»). Выпивку хозяин поставил не простую «горькую», а коньяк. А так как не коньяком же гостей поить допьяна, то в соседней комнате на всякий случай заготовлен крепчайший, ядренейший самогон.

Соленые грузди, как большие чернильные кляксы, расплылись по бумажной белизне тарелки. Копченая колбаса нарезана бережно, как нечто очень драгоценное. И изобильно выпирает из зеленого стекла ярмарочных вазочек густое, липкое, сладкое уже на вид варенье.

Хозяин, не зная, чем занять гостей до выпивки, хотел было уже сейчас завести граммофон, да хозяйка не велела:

— Погоди, Сережа... Всякому овощу свое время. Сперва — закуска. А там за чаем и граммофон пустим.

— Надо пойти Танюшке помочь, — говорит золовка. И идет в кухню. Хозяйке это очень неприятно. Она суетится в кухне потная, в грязном переднике и вовсе не хочет, чтобы ее с е г о д н я видели в таком виде. Каждый раз перед тем, как выбежать к гостям, хотя бы на минутку, она скидывает, путаясь в нем ногами, передник, и заново проводит пуховкой по запотевшему носу и лбу. Пуховка и пудра тут же под рукой, на кухонном столе, между очистками из-под селедки и еще не нарезанным свежезапеченным окороком. Тут же вертятся дети, девочка в кисейном платьице, с утра умытая и даже завитая, мальчики в суконных брюках и чистых рубашках... Они недаром тут юлят: мать только

что отколупнула от окорока просоченное насквозь жиром, от жира чуть не прозрачное, ржаное место, на него-то дети и зарятся. Мать в отчаянии гонит их: разве можно давать в руки уже переодетым ребятишкам что-нибудь сальное.

— Убирайтесь, чертенята!.. Там тетя Саша пришла. Идите с ее детьми играйте... Только чтоб не вымазаться, смотрите у меня!..

В кухне пахнет пирогами. Хозяйка с трепетом заглядывает в печку и снова закрывает заслонку. И тотчас же принимается крошить лук крупными кольцами на селедку.

— Милости просим, не побрезговайте нашим угощением!..

Гости наперерыв спешат восхититься угощением:

— Ну и пироги у вас, Татьяна Михайловна! Замечательные!.. Вот у меня хоть бы раз такие пироги вышли... — говорит жена деверя.

— Да что вы?! Неужели уж такие хорошие впрямь? Это оттого, что я... — следует длиннейший рецепт.

У жены деверя вскипает самолюбие.

— Ну, уж это вы совсем напрасно!.. — спешит она противопоставить хозяйкиному рецепту свой рецепт. — Я вот никогда масло не растопляю раньше, чем в тесто класть, а тоже очень хорошо получается... Правда, Петя? — обращается она к мужу, совсем забыв, что только что сама говорила, что Татьянины пироги лучше, чем ее.

Муж в затруднении, он и жены боится и хозяйку дома не находит удобным обидеть.

— Да, и у нас дома пироги недурны. Моя женка стряпать умеет... Однако таких, как эти, еще ни разу, отродясь не едал...

— Ты, Петр, напрасно столько пьешь!.. В кои веки собрался вместе с женой в гости и тут напиться норовишь... Пьянствовать, это ты в кабаке, с приятелями можешь... А не на глазах у законной жены... — обиженно бормочет она и косится на хозяина, наливающего всего еще только вторую рюмку коньяка ее мужу... Она с своей стороны демонстративно не прикасается даже к первой.

Остальные все пьют. Мужчины и женщины. Кроме хозяйки. Ибо не надлежит хозяйке напиваться, принимая гостей.

— Петя, нам пора! — неожиданно во всеуслышание заявляет жена деверя, хотя просидели они в гостях ровным счетом много-много — час. — Пора и честь знать... Погостили и будет...

На всех лицах — недоумение. Муж краснеет и бледнеет. Зная свою жену, он предчувствует громкий скандал сейчас здесь и тихую потасовку дома... Откровенно говоря, ему больше всего хочется, не возбуждая ничьего внимания, уйти сейчас же вместе с женой. Но внимание уже обращено. Торжествующе-лицемерные лица женщин: — Мы-де не такие, как твоя женка... — и задушевнейшее сочувствие мужчин... Это соболезнавание оскорбительнее всего. Петр грозно супит брови (выходит это почему-то жалко), задирает голову:

— Ты еще что мне за указ?! Ты мне благодарна будь, что в гости я тебя к порядочным людям повел!... Кабы не на людях, я бы тебе показал!... И покажу ужо...

Хозяин, желая придать разговору более добродушный характер, говорит немного нараспев:

— Полноте!.. Что это вы расстраиваетесь, Аграфена Степановна?... Чать не в кабаке, не в чужих людях — у родного брата...

— Ну, ты как знаешь... В таком случае, я одна пойду...

Хозяйка пробует ее удерживать, а затем, стараясь быть особенно любезной и ласковой, провожает ее в переднюю...

— Премного вам благодарна за угощение... — бормочет гостя и в голосе ее клопочут яд и ярость...

Угощение идет своим чередом. Гости уже принялись за самогон. Два раза ссорились и два раза мирились хозяин с братом Петром. Женщины, за отсутствием чужих мужчин, заигрывают со свойственниками. Сестра хозяйки жмет под столом ногу Петра. Ее муж <сам> пристаёт к хозяйке... Она, единственная трезвая, отбивается...

Граммфон смеется, хихикает, <бормочет> голосами Бим-Бома, — «народных клоунов республики»...

Сильно захмелевший уже хозяин рассказывает ничего уже не смыслящему осоловелому брату:

— Кооператив весь разокрали... Прислали комиссию. Они взятку — комиссии. Комиссия разокрала, что можно было... Их судили. Оправдали почему-то...

...За одно хвалю большевиков и советскую власть признаю: советская «горькая», по прозвищу — «Рыковка», в честь великого вождя трудового крестьянства и красного пролетариата, не хуже царской. Коньяк, наливки, — все довоенного уровня... Вот оно где, мирное строительство. А мы и не замечаем другой раз... <...>

ВНИЗ ПО АНГАРЕ. — НОЧЕВКА В ПРИЕЗЖЕЙ.

Из тумана появилось что-то неопределенное, может быть, стена, может быть, гора, не знаю... Да и не хотелось думать, по правде, что это. Все равно — ямщик довезет. Укуталась поглубже в тулуп, выше подняла мохнатый грязный воротник, так что запах и шерстинки овчины защекотали ноздри.

Ничего. Когда так холодно, это неважно. Зашивают же матери-туземки на недели маленьких детей в меховой мешок и так носят ребенка, как маленькое запечатанное чудовище, пока не развалятся сгнившие от нечистот меха. Холод... Великий царь-холод... Чего же мне стесняться запахом несвежей овчины?

Ангара разворачивается и вправо, и влево, и вдаль, как нескончаемая, упирающаяся в туман, серовато-белая дорога. Она почти ровная. Хорошо скользят сани по снежному крепкому асфальту, лишь изредка встряхнет на нечастых сугробах.

— Ладно замерзла матушка... — говорит ямщик про Ангара, — ровно стол.

Если закрыть глаза, все-таки не уснешь. Но тогда покажется, что во всем мире нет ничего — ни меня, ни ямщика, ни лошадей, нет даже Ангара. Есть только холод. Холод...

Под знаком холода проходит жизнь края. Там дальше вниз, за тысячу верст от Иркутска, там ездят уже на оленях и на собаках, там холод не отпускает людей совсем: на два, два с половиной летних месяца, он затаится лишь блестящим летающим снегом под остро-кусающим похмельным солнцем, — не успеют оттаять ни животные, ни люди от судороги страшной зимы, как опять приходит державный холод. Откуда этот ветер? Страшный тяжелый, густой, мохнатый ветер, бегущий по Ангаре. Наверное — с полюса.

— Сейчас приедем. Замерзла, чать? — прерывает ямщик мои размышления.

Действительно, неопределенное, маячившее в морозном тумане, плотнеет и превращается в довольно большой двухэтажный дом. Сани подбрасывает о береговые сугробы, лошади останавливаются и я, с помощью ямщика, взбираюсь на каменное крыльцо.

В полуоткрытую дверь валит пар. Вхожу и опускаюсь на деревянную скамью.

Минуты две я ничего не чувствую и мне кажется, что я по-прежнему — под ледяным ветром Ангары. Но вот блаженное тепло жилья просачивается в лицо и в тело и я начинаю понимать, что хочу есть и что сильно замерзла.

— Ишь, бедная... Не обморозила щеки-то? Хошь, снегом натру? — соболезнует ямщик.

Но все обходится благополучно и минут через десять я сижу за общим столом проезжей станции, она же трактир. Станный сибирский трактир, где хозяин при вас откалывает ржавым топором кусок молока и кусок пельменей от громадных ледяных глыб, принесенных из сеней крепкими руками, чтобы оттаять на огне отрубленные куски и подать на стол густое, жирное, чуть грязноватое молоко и обжигающие рот вкуснейшие огромные пельмени.

Суровый демократизм севера быстро сближает здесь людей и упрощает потребности и жизненные отношения. Спят все вместе, и мужчины и женщины — не раздеваясь, в большом общем помещении на скамьях, где подстилают войлок и овчины. Но под грязным бревенчатым потолком горит все-таки подслеповатая от пыли двадцатипятисвечевая электрическая лампочка. Это — последняя станция («станок» — как называют здесь), где горит еще электрический свет. На следующей — будет керосин. А дальше — дальше, может, и керосина не будет.

— Тяжелый вы избрали путь, — говорить мне укладывающийся на противоположной скамье комиссар транспорта (так называют здесь заведующего трактом). — Надо бы вам подождать лета и ехать лучше на пароходе. Тогда это приятная даже прогулка, посмотрели бы наши края-с. А теперь не только вам, женщине, а даже мужчине одно мученье-с.

Мы разговорились. Заведующий трактом оказался довольно приятным городским партийцем, с полгода назначенным на свою трудную должность. Попал он сюда не за провинность, как обычно, а по собственному желанию; хотелось дикое края посмотреть, да потом.... тут он смущенно-лукаво опустил глаза — «золотцем здесь, говорят, разжиться можно». В городе у него осталась большая семья, за последнее время концы с концами свести трудно.

Мне понравилась стыдливая откровенность, с которой он говорил про «золотце». — «В городе, знаете, даже на партмаксимум с такой семьей прожить трудно. А мне до партмаксимума далеко, только полставки получаю. А тут — командировочные, климатическая прибавка и всякое».

Он сильно недоволен отношениями с туземцами. По его рассказам, при всех благих советских намерениях кооперация их страшно эксплуатирует: мало пороха, мало дрови, мало сала и керосина, и невероятные цены. Потом, охотнику не дают кредита, пока не заплатит полностью до мелочи старый долг; бывает, что из-за какого-нибудь недоплаченного рубля ловцу срывается весь охотничий сезон. Те обижаются: «Царские купцы и то не так жали. Советский “прижим” очень тяжелый».

Жуткое рассказывал об обычаях местного суда: в город ездить судиться за тысячу верст невозможно, а местный суд, народный советский суд — как ни парадоксально, — руководствуется дикарскими обычаями. Народный судья — пьяница и трус — боится населения, старается подладиться к туземцам. «Где уж тут по декретам, — я уж как-нибудь поихнему судить буду», — говорит он.

Был случай — рассказывает заведующий — когда при нем, чуть ли не по приговору суда, толпа убила какую-то старуху за колдовство и порчу ребенка.

— И вы не помешали? — возмутилась я.

— Ничего нельзя было поделать, тут бы всех растерзали, — возразил заведующий. — Тут у нас — север, публика серьезная. С ними лучше не связываться. Потом оформили — написали в город бумагу на всякий пожарный случай, что, мол, погибла от нечаянности. И еще хуже случаи бы-

вали: тут, если рассказывать, времени не хватит, — он зевнул и повернулся к стене. Я тоже скоро заснула и сквозь сон слушала ветер над Ангарой, плещущий, как океан.

(ШОКОЛАД. — НА СТАНЦИИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ.)

На станции было шумно и людно. Бегали бойкие мальчишки, предлагавшие лучший напиток в мире — обыкновенную, не совсем чистую воду, но — со льдом; толпились пассажиры всех сортов — от франтоватых ответственных работников до измученных баб с мешками за спиной и с грудными детьми на руках; по перрону, важно попыхивая папиросками, гуляли какие-то парни в кожаных кепках и матросских брюках навывпуск, очевидно, местный «рабоче-крестьянский бомонд»...

Когда подошел поезд, все это многолюдное и многогоровое кинулось штурмовать вагоны... Стало совсем как — в 20-м... Только с помощью энергичного зампачстанции с трудом протискалась я в свой вагон; о моем нумерованном плацкартном месте и думать было нечего...

— Уж вы как-нибудь здесь протерпите-с... Потом посвободнее станет... — бормотал торопливо замнач, укладывая мои вещи в коридоре.

«Терпеть», впрочем, пришлось недолго: и восьми минут не прошло, как тот же замнач появился на перроне и почему-то с радостным лицом громовым голосом заявил, что этот вагон отцепляется и не пойдет дальше.

Под негодующие крики обескураженных пассажиров вышла, вернее, — вывалилась и я из вагона. Найти место или просто влезть в другой вагон нечего было и думать, — всюду набито до отказа.

Когда поезд отошел, замнач взял мои вещи и я поплелась за ним в телеграфную. Стучали аппараты, седоусый, почти седой телеграфист со странно-мальчишеским лицом, не прерывая работы, пощипывал сидевшую рядом с ним полную девушку... Та заливисто смеялась... За их спинами двое подростков, вероятно, ученики, оглядываясь по сторонам воровато, дулись в карты....

На меня никто не обратил ни малейшего внимания. Так просидела я полчаса, заскучала... Встала, чтоб идти в гостиницу.

— Погодите, — сказал замнач, — Тереньков расскажет вам свою историю... — Тереньков!.. — возгласил он начальственно.

— Есть!

Полуседой телеграфист моментально перестал работать и щипать соседку, которая недовольно оглянулась.

— Служил с шестого года-с.. — начал он скороговоркой, словно по команде. — Часто был от начальства взыскуем... Но и претерпевал.

В эпоху гражданской войны-с тоже претерпевал...

Но от товарища Троцкого счастье жизни своей получил...

— Как?! — удивилась я. — Вы что, с Троцким знакомы?

— Как же-с... Самолично Львом Давыдовичем был принят и из собственных ручек получил... шоколад...

— Шоколад?! —

— Так точно-с... Шоколад. Две американских плитки по фунту весом, почти кило-с. На предмет питания организма и в знак признательности.

Я ничего не понимала. Замнач объяснил: когда поезд Троцкого стоял у них на станции и аппарат, как назло, был не в порядке, Тереньков все же сумел первым передать срочную телеграмму на фронт. Телеграмма сыграла громадную роль, говорили, что она спасла целую дивизию от разгрома. Троцкому сообщили фамилию телеграфиста и он захотел его видеть. Тереньков страшно растерялся, думая, что его требуют для какого-нибудь наказания...

На вопрос Троцкого, что бы тот хотел получить за свой телеграфный подвиг, Тереньков растерялся и пролепетал: «Шоколад»...

Троцкий долго хохотал и потом сам дал ему просимое и приказал перевести на высший оклад. Странная просьба возникла на любовной подкладке: время было голодное, трудное, люди ели овес и даже картошки не было, а возлюбленная Теренькова — тип полу-деревенской Клеопат-

ры — играла в своеобразный аристократизм и заявила Теренькову, что поцелует его, лишь если он достанет ей плитку шоколада...

Все попытки ее образумить и заменить шоколад дровами, керосином или даже сахарным песком — ни к чему не привели... Измученный любовью Тереньков видел во сне гигантские глыбы черного, как антрацит, шоколада, но наяву... наяву он был безоружен...

Получив от Троцкого цену любви, он срочно помчался к даме сердца и история закончилась, как и следовало ожидать, счастливым — не в пример прочим — советским браком....

Так Троцкий, разбивший и погубивший немало человеческих жизней, помимо своей воли, сочетал два любящих сердца....

— Четвертый год уже в браке-с, — сказал Тереньков, поглаживая полную шею соседки, оказавшейся его женой...

Следующий поезд должен был быть в семь утра. Я полюбовалась еще на счастливую парочку, раскланялась и пошла спать в гостиницу.

МИТИНГ В ВАГОНЕ

— Хорошо вашему брату-рабочему! Вы что — лодыри! Отработали восемь часов и баста. Домой к бабе на постель, на теплые пироги. Да и восемь-то часов, черти, не проработаете как следует: то покурит, то побалагурит, то соплю полчаса утирает. Да еще на обеденный перерыв почти час дают. А то и больше.

А наше дело хрессьянское: нет тебе ни отдыха, ни сроку, с четырех часов утра до поздней ночи, спины не разгибая. Да и бабу с собой на работе изведешь, больше моего ей мытариться. И — с детишками. И — с домашностью. Да со скотиной. Опосля, значит, всамделишной работы. А твоя баба, рабочая, — гладкая: только по хозяйству и крутится, за мужиком-то, как за стенкой. А ежели работает когда, то работа у ей легкая и жалованье, окромя того, супротив мужа получает.

Вот хорошо, запретили таперича вам мужу с женой работать, а то — грабите, обираете рабоче-хрессьянскую республику.

— Ты, дед, полегче! — сердито возразил молодой высокий голос. — Это вы рабочий класс в голодуху-то пограбили; мало вам самоваров, да перин, да спинжаков на картах да на муку сменяно?

Я сам-то, почитай, на деревню ходил; бывало, сорок изб обойдешь; в ногах зудит, в глазах — муť, а ваше кулачье еще издевается:

— «Ты одеял бы шелковых привез, да суконца бы хорошего. Или хоть бы роялю на телеге привез... А то на простое менять неохота... Хлебушко-то, он таперича в цене!» Н-дя, охота! ишь — сволота! Своего же брата-рабочего придавить готовы. — Поклонись, мол, за хлебушко пониже! — На нужде спекулировали!

Брали бы с буржуев, да с помещиков — тут вам никто говорить не станет. А то норовит ободрать своего же брата. А ты думаешь, работа-то она легкая?

Работа, брат, умственная. Она специалистов требует. Не то, что у тебя: ты так ковырнул, не так — все равно земля родит. А тут с понятием надо. Притом — поковырялся лето, зимой лежи на боку. А рабочий весь год напролет дует...

Рабочий промышленность подымает, вот что. А ты говоришь...

— Да уж ты подымеешь! — возразил первый голос. — Вот у нас в киператив ситец привезли гнилой. Суконце — не сукно, а дерьмо, с позволения сказать. Сапоги — через неделю каши просят, цена-то им — семнадцать с полтиной. А в прежние времена я за четыре целковых хорошие бы купил, с почтением...

А хлеб-то чегой-то стал дешевый! Выходит, ты теперь меня колупаешь, браток. Ежели и было что прежде у мужика припасено, теперь все в город пошло.

Ни от царя, ни от большевиков нет мужику правды-милости... Эх-эх-эх... Ну, прощевай, не сердись, браток, — кажись, приехали...

Поезд действительно подошел к станции. Я наблюдала со второй полки, как один из споривших помогал другому взвалить на спину тяжелый мешок. Потом крестьянин сошел на полустанке, а поезд без звонков пошел дальше.

ОБ АВТОРЕ



Евгения Исааковна Ярославская-Маркон родилась 14 мая 1902 г. в Москве в семье историка, филолога-гебраиста, еврейского общественного деятеля И. Ю. Маркона (1875-1949). Вскоре ее семья обосновалась в Петербурге. Исклученная из гимназии в связи с революционными увлечениями, сдала экстерном экзамены за 6-7 классы и в 1918 г. поступила в университет.

В 1922 г. окончила философское отделение факультета общественных наук Петроградского государственного университета; в том же году связала свою судьбу с поэтом-биокосмистом А. Б. Ярославским (1896-1930). В марте 1923 г. попала под поезд, были ампутированы ступни обеих ног.

В 1922-1926 гг. Евгения колесила вместе с Ярославским по России и Средней Азии, читала вместе с ним лекции на литературные и антирелигиозные темы. В 1926-1927 гг. побывала вместе с мужем в Германии и Франции; в Берлине работала в телеграфном агентстве и сотрудничала в газете «Руль».

После возвращения в СССР в начале ноября 1927 г., ареста мужа летом 1928 г. и безуспешных ходатайств о его освобождении Евгения ушла «в шпану», проделав путь от продавщицы газет

до гадалки и воровки-рецидивистки, строила планы организации «уголовно-политического» комитета для освобождения из тюрем и лагерей «смертников» и других видных заключенных. За воровство была приговорена к трем годам ссылки в Устюжне, откуда за ограбление магазина была сослана в Сибирь. Бежала из ссылки; надеясь подготовить побег мужа из Соловков, добралась до Кеми, где летом 1930 г. была арестована и в сентябре приговорена к трем годам лагерей. Узнав на Соловках о расстреле А. Ярославского, пыталась покончить с собой, нападала на лагерных начальников. 10 апреля 1931 г. была приговорена к смертной казни и 20 июня 1931 г. расстреляна на Секирной горе. В 2008 г. были опубликованы написанные ею в карцере воспоминания «Моя автобиография».

Очерки, предлагаемые вниманию читателя, были впервые напечатаны в газете «Руль» (Берлин) в декабре 1926 – сентябре 1926 гг. под общим заглавием «По городам и весям». Тексты публикуются по первоизданию с исправлением наиболее очевидных опечаток; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Отдельные слова, не поддающиеся прочтению в доступных нам сканах газетных номеров, означены как <...> или <нрзб>, предположительные прочтения – в угловых скобках. Настоящая публикация является предварительной; откомментированный вариант книги очерков Е. И. Ярославской-Маркон «По городам и весям» будет включен в том V подготовленного нами издания «Биокосмизм: Собрание текстов и материалов».

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.